

84(2-632.93)6

4-639

1281705

**БОРИС
ЧИПЧИКОВ**

**БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ДОЛГАМ
МОИМ**

*Самому любимому человеку, которого я
никогда не видел, моему дедушке эфенди
Узеиру Чипчикову*

ДОБРО ЧУЖОЕ НЕ ОПЛАТИТЬ
ДОБРОМ СВОИМ.
ДОБРО ДРУГОГО – НЕОПЛАТНО.

НАЛЬЧИК
2013

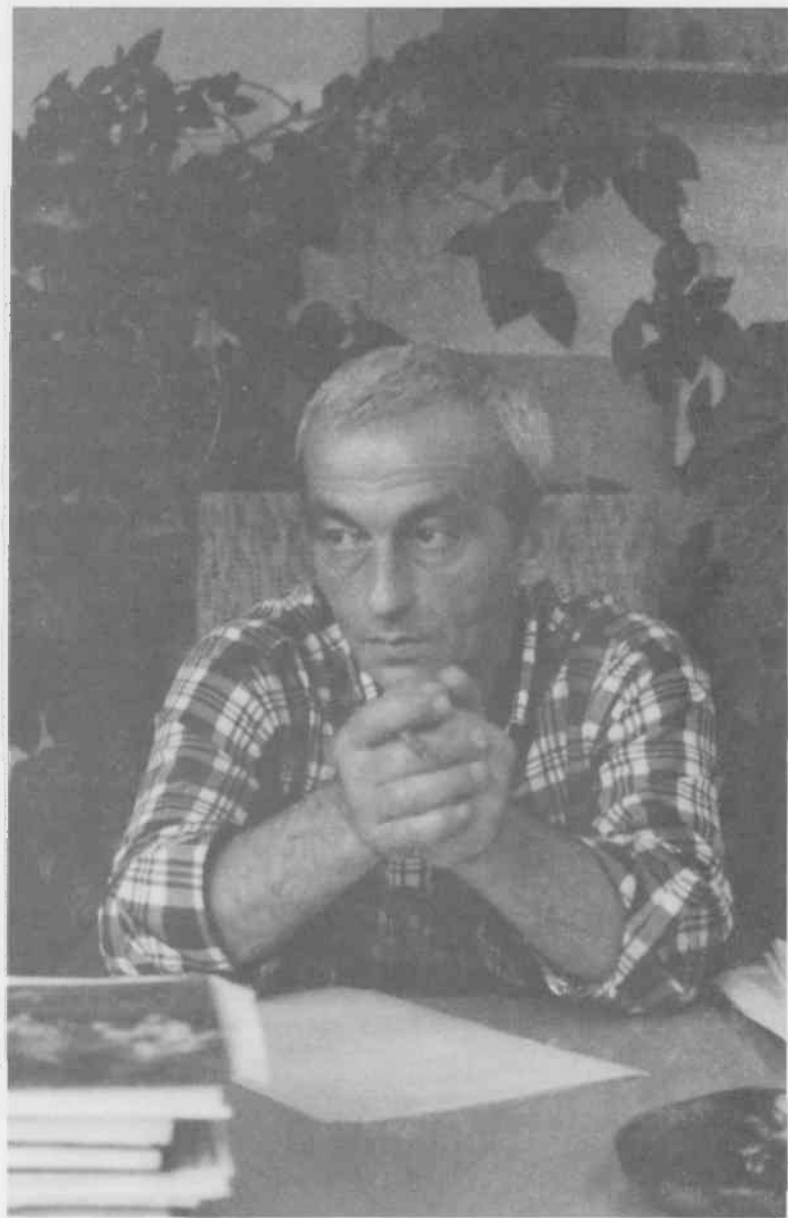


PHOTO BY
TIM

11Р

**БОРИС
ЧИПЧИКОВ**

1001705

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДОЛГАМ МОИМ

*Рассказы
Из записных книжек*

НАЛЬЧИК
«ЭЛЬБРУС»
2013

Государственная
национальная библиотека КБР
им. Т. К. Мальбахова»
г. Нальчик, ул. Ногмова, 43

84(2=632.93)6

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2-411.2)6-4
Ч 639

ISBN 978-5-7680-2518-2

© Б. М. Чипчиков, 2013
© Издательство «Эльбрус», 2013

РАССКАЗЫ



КРАСИВОЕ ЭТО СЛОВО – ТРОПИНКА

Сквозь листопад, в небесных просветах, вижу маму, почему-то именно в эту пору она чаще всего приходит ко мне. Может – потому, что лицо ее было в желтых веснушках, может – потому, что у крылышка носа приютилась маленькая бородавка, как необходимость, как видимая определенность, как цельность ее, а мое первое детское умиление. Глядя ее бородавку, я собирал в тельце малое плещущую в необъятности первозданность свою. И с высоты всех высот смотрели на меня мамины светло-карие глаза... и помогали мне собраться. Я ничего еще не знал о Матери Божьей, я никого еще не знал по отдельности, я еще жил во времени том, где все и вся были вместе, и мне так не хотелось уходить из времени того, но – вопреки желанию – я детскими ручонками хватал, комкал необъятность и втискивал в крошечную плоть свою. А мама печально смотрела на необходимые, но пагубные труды мои. Я еще ничего не слышал о Матери Божьей, но я знал, что у нее глаза точь-в-точь, как у моей мамы. На свете очень много глаз, но карие роднее и понятнее. Моя сестра Мадина сказала: «Тебе повезло – у большей части человечества именно такие глаза». А мне по-крупному всегда везет.

Мама приходит из того дня, моего первого дня в этом городе. Тогда также падали листья, правда на другие дома, на другие дороги и совсем на других людей. Время приходит со своими людьми – тогда кто-то же должен жить во времени своем, но почему-то все живут не во время свое.

Жизнь – это хоть какая-то общность человека и времени. А если у времени своя дорога, а у человека тропинка своя, то это – все, что угодно, но никак не жизнь.

И шел я, семилетний кроха, не в свое время, среди чуждых людей и домов, – и ничего вокруг моего, лишь рука моей мамы... и мелькнуло, озарило: «Во времени чужом не потерять бы свое...»

Это потом года разжижили, слегка расплескали мою детскую отметину: «Во времени чужом – ищу свое. Во времени чужом – не растворить бы свое. Во времени чужом – живу в своем».

После азиатской шири, беспечного безлюдья, маленьких, ободранных мазанок, крытых ветхим камышом, и солнца во все небо и землю всю, вдруг зашвырнуло в замкнутость громадных, сделанных навсегда двух-трехэтажных домов, в толпы людей,

куда-то идущих и, как мне показалось, знающих – куда им идти. В Азии люди, как и солнце на небе, шли себе непонятно зачем, непонятно куда...

А листьев сколько: на крышах домов, на улицах и тротуарах, – и иду я по ним осторожно, иду, будто на какую-то тайну наступаю. В Азии я не помню, чтобы на мне была обувь, – ее носили только взрослые. Ноги, как и земля, были в трещинах, и каждый вечер мама заставляла мыть их в арыке. Теплая вода с заходом солнца леденела, и окунал я свои окровавленные ноги в холодный йод. А здесь на мне новые ботинки, что само по себе удивляло, расширяя круг нереальности, в который меня угораздило. В Азии не то что ходить по листьям – видеть я их толком не видел: на всю округу с десятков деревьев и росло, – и я не знал, куда мне смотреть, то ли на людей, то ли на дома, то ли призадуматься, куда я попал. И если бы не мамины руки, за которые я крепко-крепко держался, я бы, наверное, растворился в этом мельтешении чуждых людей и домов, в этой томной сосредоточенности осени. И неправда, что обрезается пуповина: а мамина рука, а память о ней до дней своих последних?

Много позже, на склоне лет, иду с мамой той же дорогой и той же осенью. Ходить тихо я не умею, а здесь вынужден. Иду с ней тихо-тихо, под стать падающим листьям, и думаю: «Вот в детстве она меня за руку водила, а теперь веду ее я. Как бы и в расчете...» Только вдруг замечаю: а ходить-то я так и не научился – бегом все, и сейчас она учит меня вновь.

Балкарцы говорят: «Чтобы отплатить один день материнского труда, надо дойти до Мекки с матерью на спине». А некоторые утверждают – и обратно.

Я думаю, обратно мы бы шли рядом, собирая воедино увиденное, осмысливая собранное. А ведь это было возможно, ходят же люди пешком вокруг света, но эта ходьба – зряшная. Разве увидит идущий налегке то, что увидел человек с матерью на спине, – ведь они и ростом выше, и видят дальше и больше. А ведь это было возможно: она была у меня такая худенькая. Это был мой единственный шанс – и я его не использовал. Мы так легко расстаемся с важным, насмерть уцепившись за пустяшное.

Душе так хочется учиться. И душу можно научить. Но нет у знающих поводыря. Тут жизнь хоть как-нибудь, да прожить и обмануть себя – что прожито не зря.

Смотрю, как падают листья, и вспоминаю ее слова:

– Когда пишешь, помни о загубленном тобой дереве. И

пиши так, чтобы написанное стоило хотя бы тени исчезнувшего по прихоти твоей дерева. Хотя я не больно-то тебя читаю – врешь ты все. Все у тебя хорошие, а сам ты – лучше всех. Ты возьми лист бумаги, на одной половине напиши о делах своих хороших, а на другой – о плохих, вот тогда и я прочитаю.

– Мама, если я перечислять начну все свое плохое, то у меня не останется времени даже упомянуть о хорошем своем.

А про себя подумал: «Да, я живу среди хороших людей и сам я не так уж плох. И если жизнь и судьба не доказали мне обратное, то кто же меня переубедит. Если у меня есть хорошая черта, а в противовес ей – десяток пороков моих, – не они ведут меня, не за ними следую. Впереди меня шествует то немногое хорошее, что есть во мне, а позади плетутся мои недостатки – они худы, грязны, оборваны, они плачут, обращаясь ко мне: оглянись, приглубь нас, – а я и не подумаю. Я иду вперед, едва поспевая за хорошим, что несется впереди меня. У меня нет времени говорить о плохом».

Были у нас с мамой разногласия по литературным вопросам. Мама, едва говорившая по-русски, как-то, ни с того ни с сего, сказала: «А правда, красивое это слово – тропинка?» А слово, и правда, красивое, и как до сих пор я его не расслышал?

Смотрю на падающие листья и думаю: «Как мало места на земле занимает человек, а уйдет, то всем виденным не заполнить пустоту, оставшуюся после него. Если уходит мама, ты продолжаешь жить, просто живешь ты совсем в другом времени. Смена времени и происходит с уходом мамы, нет, с ее уходом происходит смена времен».

Ходил по большим дорогам человек – ходил, как по тропинке, – всего-то. Все было просто, необъятно и неотвратимо – как сама банальность.

ЗДРАВСТВУЙ, НЕЗНАКОМЫЙ!

Если в словах нет духа Офелии –
нет произведения и, по большому счету,
не о чем говорить.

Сяду в автобус, включу гитарную классику и пойму, что не музыка иллюстрирует видимое, а столбы, поля за окном, горизонт, кони – все это сейчас на моих глазах вылупляется из

музыки, возможно, я и сам появляюсь из нее, жаль – не вижу себя со стороны.

Еду и прислушиваюсь к детскому гомону за спиной, как астроном, почти бездыханный, вслушивается в сигналы, идущие из миров иных. И печальные кони за окошком автобуса вслушиваются, как разгоряченная боль человеческая, накопившаяся за день, оседает облегченно на предвечерние, все понимающие прохладные поля. Кони, вечно гонимые сироты, с вечным воспоминанием об их никому неведомой Родине, с таким горьким недоумением пребывающие на чуждой им земле, да еще и вынужденные – по каким-то неведомым обязательствам – таскать на себе не знающих куда скакать, зачем скакать и кого убивать несчастных, обезумевших людей.

А безумие так зримо – жизнерадостный человек, сидящий на печальной лошади, да еще и поющий героические песни. А он, мирно сидящий на лошади, и не ведает, что где-то далеко-далеко от его сидения уже горят дома, и называется это почти безобидно – горячая точка, и печально, что сидящий на лошади никогда не узнает, что эти дома поджег он. Как возмездие за лошадиную печаль и возгорелись дома человеческие.

Это все я увижу и услышу потом, если договорюсь с директором школы о поездке, а пока пью чай, курю и смотрю на мартовский снег за окном, вслушиваюсь в март, несущий в себе и отражающий искаженный вечными смутами лик России.

Смотрю на таяние мартовского снега и вижу, как мучительно умирает последняя нормальность на этой земле – Россия.

Этот чай с сигаретой, на стыке ночи и дня уносящий с собой прожитое и дарящий предчувствие грядущего, – такая ценность, такая необходимость – как поручень в нереальном и шатком. Падает снег, едва коснувшись земли, тает, и лужи всех размеров и на любой вкус – моя погода!

Все «лишние» люди сидят по домам, и хорошие хозяева не выпускают собак из дому.

Вот бы в следующей жизни родиться породистым псом. Все гладили бы меня по голове, и тогда я бы узнал, что такое любовь. Или еще лучше – породистым котом с паспортом, и милиционеры не спрашивали бы у меня документов. И ходил бы я, куда душе хотелось. И на каком-нибудь углу меня по ошибке не застрелили бы какие-то фантастические автоматчики. Нет, никуда бы я не пошел, а лежал бы себе на диване и ел бы черную икру, заедая ее красной. И нежная рука красивой

и уютной хозяйки лежала бы на лбу моем, и я бы точно знал: эта рука меня любит.

Я побрился, оделся во все чистое, не куда-нибудь иду, а в школу. Я волновался, будто шел туда впервые. На ногах у меня – белорусские ботинки, чем-то похожие на Лукашенко, тупоносые, с подошвой, как у белорусских же грузовиков. Шагнул в лужу, а ботинки неожиданно протекли, а с виду казались такими надежными.

И тут я увидел дворничиху в оранжевой куртке, она выковыривала из грязи то, что набросали люди, нежащиеся сейчас в теплых постелях. Никого на этой земле, лишь я да она. Когда я вижу женщину-дворника, особенно в непогоду, когда в миру еще ни света ни зари, я столбенею, будто встретил желанного человека с неимоверно трудной судьбой, и он ее осилил, и стоит себе целый и невредимый, да еще и в округе, которую мы захламили, наводит порядок, – это так здорово – силен человек.

Вроде не занимал у этого человека, а вот должен – и все тут!

– Доброе утро, – сказал я ей, незнакомой.

– Здравствуй, солнце, – ответил родной, впервые слышимый голос.

Она почувствовала, что я очень хочу ей доброго утра, и в ответ благословила день мой. Я шел по пустому городу, по безлюдной улице, и думал: «Через день-два высохнут лужи, появится солнце, выйдут люди в трусах и майках, запахнет шашлыком и апельсинами, и тогда в этом вспотевшем, изнуряющем многолюдье нельзя будет поздороваться с незнакомым. Ненастье специально создано для встречи с незнакомым. «Я шел по пустой улице, шагая по лужам, – обойти их не было возможности, да и терять мне нечего: ноги все равно промокли. Как сама неожиданность, в конце улицы появились двое. Они шли по другой стороне, и один из них, подойдя ко мне, попросил сигарету. Я протянул пачку – можно я две возьму? – да ради бога – левой рукой он взял сигареты и, похлопав меня правой по плечу, сказал: «Чтобы день твой удался». Он почувствовал, что мне встретилась дворничиха и что я от всей души желаю им доброго дня.

Сел в маршрутку, на голове у меня таял снег и крупными каплями падал на пол. Незнакомая женщина, по-матерински улыбнувшись, протянула белый-белый платок, какой, кроме как у женщины, ни у кого не сыщешь. Она почувствовала,

что я встречался с дворничихой и теми двумя бедолагами, у которых раньше времени закончились сигареты.

Я вспомнил, как я с базара в жаркий день волок две доверху наполненные сумки, еле втиснулся в маршрутку, с меня не капало, а лило, руки заняты, не могу добраться до платка. А рядом – на одном сидении – вжились две миниатюрные девушки. Одна из них вытащила из сумочки бумажный платок и промокнула мне лоб. Я потел, а она меня сушила, – и как столько салфеток уместилось в ее крошечной сумочке, наверное, мне повстречалась какая-то волшебница. Может быть, она предчувствовала, что я встречу с дворничихой, с теми двумя и женщиной с удивительной улыбкой и белоснежным платком. А мне казалось, что я сделал что-то очень хорошее для людей и они послали ко мне это мифическое существо, чтобы я почувствовал, как они мне благодарны. Я так уверовал в это, что мог совершить нечто хорошее, что и десятку человек не по силам было бы.

Вышел я в малознакомом районе, где школа – не знаю. Вижу, идет девочка лет двенадцати, угрюменькая, понятно – климат не очень радостный, да еще и в школу идти, не возрадуешься шибко.

– Вы не подскажете, как к школе пройти?

– Идемте со мной, – буркнуло малорадостное существо.

Пока мы шли к школе, девочка почувствовала, что я встречался с дворничихой, с теми, кому очень хотелось курить, и с женщиной с белоснежным платком наготове. Самая умная часть общества – девочки до четырнадцати лет. Мне удивительно легко с ними. После четырнадцати они более углублены в себя, наверное, осмысливают Богом подаренное. Этой было лет двенадцать, и она щедра была не в меру, а у щедрости и нет меры.

Она чувствовала, что и я не пустой, и иду я с подарками.

Пока мы дошли до школы, успели стать друзьями. Уже у выхода я ей сказал: «Проходим резко мимо охраны, а если нас окликнут, ты скажи – он со мной».

Так мы и поступили – резво проскочили вестибюль, но уже на ступеньках услышали: «Вы куда?»

Три очень крупные усидчивые бабушки за разговорами упустили наш стремительный проход. Моя спутница, обернувшись к ним, сказала сурово: «Он со мной». Мы взглянули друг на друга и покатались от хохота.

Мы смеялись, а серьезные бабушки смотрели на нас и ниче-

го понять не могли. И, сидя на школьных ступеньках, я думал: «Дорога к Богу – это ступеньки, сложенные из очень простых истин. Трудность в том, что, исполнив одно и забыв про другое, – надо начинать свой путь сызнова».

И живем-то мы в ожидании неведомого и с верой в незнакомого. Надежда – и есть ожидание незнакомого.

А умиление – такая необходимость, как уборка захламленного, подготовка места, куда должен прийти незнакомый.

В детстве при виде скомканной и брошенной обертки мороженого меня до боли грудной охватывала тоска. Мне казалось, вот человек бросил эту бумажку и ушел, и я его никогда не увижу, а он был тем самым необходимым человеком, и жизнь становилось иной, менее радостной, что ли?

И сейчас, на склоне лет, при виде этой скомканной бумажки в меня вселяется та детская мудрая грусть и долго пребывает во мне. В этой скомканной бумажке притаилось ушедшее время и упущенные возможности, а главное – ушедший незнакомый человек, который никогда не вернется, а он так нужен был мне.

Я иду в школу. Я учусь здороваться с людьми, если я не умею здороваться с людьми, то как я обращусь к Богу. Ибо слово наше доходит до Него только через другого. И чем дальше от тебя человек, тем короче путь твоего слова к Нему. Бог услышит, если ты обратишься и сам, но слово наше обретает смысл только пройдя через другого.

И если беда другого становится бедой твоей, ты можешь говорить с Богом без посредников, и нет меж вами преграды. Трепещи от умиления при виде встречного, – это лучше, чем трястись после водки, выпитой в одиночестве.

Незнакомый, я думаю о тебе, я верую в тебя, помолишься и ты за меня, один я так далек от Бога, а вдвоем мы рядом с ним.

Директор посмотрел на меня и понял, что я встречался с дворничихой, с двумя лишенными спозарань табака, с женщиной с белоснежным платком в доброй руке, с девочкой, готовой раздать хоть сейчас все свое богатство.

И он сказал мне: «Что ж, будем учиться отдыхать, работать мы худо-бедно умеем, а вот отдыхать не умеет никто».

И мы ударили по рукам. А значит, я буду ехать в автобусе и слушать гитарную музыку, и видеть, как из музыки рождаются поля и полоска вдаль, соединяющая землю и небо, и грустные кони стоят на печальной земле, погруженные в вечную думу свою.

И пока я учусь здороваться с людьми и без усталости ждать незнакомого, я не состарюсь. Я буду, конечно, выглядеть старым, но никогда им не стану. Ведь ничто так не молодит, как дума о дальнем, и ничто так не старит, как забота о себе.

Полет летчика – это букет для себя, а если ты в ненастье чуть приподнялся, то непременно кого-то найдешь, а найденный обретет тебя, – это и будут цветы для всех и букет для тебя. В ненастье надежды на солнце нет, одна надежда – тепло человечье, которого нам так не хватает в погожие дни.

Я смотрю на безоблачное небо... и жду дождя.

Я САМ ВЫБИРАЛ СЕБЕ ПАПУ

В центре России шелестишь себе в березовом лесочке и чувствуешь, что ты есть. И речка тихая никуда не утечет. И бабушке с козой деться некуда. Давнее и сегодняшнее соединено и устоялось.

Кавказ же – попытка оседлать скакуна, у которого иные, непонятные тебе задачи.

Громадины гор хрупки и все время вешают о разлуке. Они, как и сама разлука, зримый, неотвратимый раздел меж бывшим и предстоящим.

Реки: то ли их к морю несет, то ли в небо выстреливает? Отголоски великого переселения народов еще пузырятся в крови у живущих. Человек – как продрогший кусочек мха, чудом прилепившийся к скользкому камню, и его вот-вот сметет серебряным фанатизмом потока, в ярости напоминающего о давнем-давнем, до удивления необходимым, но помнимом лишь им самим.

По равнинам несутся невидимые кони – несутся на встречу с тоскливой горечью горизонта.

Закрою дверь своей фанерной дачи – и я в прошлом, открою – и весь в сиротской необходимости бурлящей.

Живешь – как в чужом саду: то ли яблоки есть, то ли опасаться хозяина?

Господи, где тот дом, стоящий в настоящем?

Предки мои кого-то догоняли, от кого-то убегали, весь день в гонках, поесть некогда было, и ели уже при луне – за весь день.

Ускакали кони, ушли те люди, забвенье уравнило и победы и поражения, осталась лишь привычка в наследство – плотно поесть на ночь глядя, за весь день.

Никогда не седлал лошадей, сижу себе на бревнышке у домика своего, похожего на отесанный небольшой камень, брошенный среди громадных скал. А нагруженная от поводьев рука на бедре – будто ледоруб во льду. Жест – как последняя зацепка у изначалья памяти, исчезни он... и заскользишь по беспомыслию, как по льду, от равнодушного до бессмысленного. Этот простенький жест, возможно, определяет более крупные мои поступки. Я ничего не знаю об этих сложностях, догадываюсь и просто повинуюсь.

Кошка жила у соседки на сеновале. Иногда она приходила ко мне, тихо садилась рядышком и молча вслушивалась в горы. Никого вокруг, а мне казалось, что все, кто мне нужен, – рядом.

Кошка была зримой копилкой и моей, и своей памяти. Она была беременной, и ходила ко мне не просто так, а чтобы узнать, что я за человек такой и стоит мне доверять? И я замечал: она стала проведывать моих соседей, и ближних и дальних. И ходила она к ним с той же целью, с которой приходила и ко мне.

А в один из дней принесла в зубах котенка и положила его рядом со мной. Она понимала: ей, бездомной, не прокормить, не отогреть его среди холодных снегов и лютых ветров высокогорья, вот и искала человека, который ей в этом бы помог. И выбрала меня, наверное, потому, что я умел молчать. Кошка больше всего ценит молчание, и не просто молчание, а молчание от переполненности невысказанных слов. И на стыке зимы и весны сидел я на бревнышке среди безлюдья и гор, которые и сами-то были зримым воспоминанием о невозвратном, – горы всегда смотрят в прошлое и думают об ушедшем времени и ушедших людях.

А мне хотелось встретить кого-то из живущих и говорить, и говорить, и верить, что твое многословие приблизит весну и среди этой серо-черной голи вылупится что-то цветное, и ощутишь ты хоть какую-то опору. Я был собран и подтянут, и ждал бог весть кого, пришедшего неизвестно откуда, и собирался ждать долго, столько сколько потребуется. А тут такое доверие – не кого-нибудь, а существа, переполненного знанием и пониманием, и не участвующего в нашей жизни лишь потому, что она ему не нравилась.

И – переполненная одиночеством и сочувствием этого сказочного создания – моя стойкость рухнула и, растворяясь в этой черно-серой жестокой невнятице, в предчувствии простора и шири, теплой влагой пролилась по щекам.

В один из вечеров сквозь ненавистные, как они сами, большевистские глушилки, я мучительно продирался к вестям из Рима. Я очень хотел, чтобы выбрали папу-поляка.

За окнами выла вьюга в унисон радиоглушилкам, в комнате раскалились две электроплитки, я докуривал вторую пачку сигарет и допивал банку кофе. Подросший кот спал в нижнем ящике письменного стола, он был привычен к безвоздушной и дыму. Его мама – на соседском сеновале, и ей было безразлично: выберут папу-поляка или нет. В отличие от меня для нее это лишь маленький эпизод в громадной истории мироздания, дремлющей внутри нее. Мне же необходимо было, чтобы выбрали Кароля Войтылу.

Я знал, что выберут его, а иначе сквозь мельтешение флагов красных, дурацких слов и не менее дурацких дел, на веку моем не увидеть мне лица человеческого. Выберут, куда они денутся, куда им против времени. И выбрали, и содрогнулось, и встрепенулось от этого выбора устоявшееся, и посыпалась коммунистическая ржавчина. И на стыке зимы и весны подули теплые ветра, а с ними пришла и сама весна, с грязью, пеной, шелухой, но все-таки весна. И стоит мне шагнуть за порог, и я увижу новых людей во времени новом, первое поколение свободных людей на Руси. Они должны начинать все с нуля, с новой азбуки. Они быстро ее составили и уже говорят совсем на другом языке. Уже говорят! И учить их некому, нет учителей, «порвалась связь времен». И они вынуждены быть самородками в буквальном смысле этого слова. Несвободные просто не в состоянии научить их языку свободы. Язык у них пока корявый и однозначный: приколоться, оттянуться, отпасть. Но он очень емкий, без словесной шелухи. Это пока язык восторга от произнесенного впервые слова, но рано или поздно он перерастет в язык разума, и это будет их язык, от первой до последней буквы выстраданный ими.

Это будет потом, а пока я сижу на бревнышке и жду, когда луна преодолет гору перед домом моим. А она все не показывалась, и тогда я сам пошел ей навстречу. Поднимаюсь на гору и слышу кошачий плач за спиной: в слабом лунном свете, весь в снегу, одни уши торчат да глаза светятся двумя фосфорными огоньками, – мой подросток-котенок.

Я иду за луной, а он зачем?

Мне снег по колено, а ему – по уши. Он полз за мной и беспрестанно плакал. Ведь лапки ему бог создал не для студеных чегемских снегов, а для того, чтобы он вышагивал по теплым аравийским пескам, мурлыкал себе в удовольствие и на радость другим.

Обойдя гору, мы ахнули: прямо на полянке сидела полная луна. Она успела уже позолотить равнинки и склоны, – и белые скалы, как громадные волны, блаженно плескались в теплой желтизне. И тепло так стало в округе, и спокойно. Котенок перестал плакать и глазами-изумрудинками впился в луну. Никого на свете, лишь луна, горы, котенок да я. И под ногами у нас не снег земной, а что-то желтое, пушистое, неземное. Наверное, из этой золотистой пыли и появится земля, потом люди, звуки и песни, а пока никого, мы одни на всем белом свете – луна, горы, котенок да я.

И мне показалось, что вначале Бог создал луну, и Ему стало печально, и тогда – на радость Себе и людям – Он слепил солнце.

Котенок вновь заплакал, вырвав меня из оцепенения. И мы двинулись обратно, кто пешком, кто – с плачем – ползком.

Состояние нереальности стало угнетать и пугать, и я, чтобы убедиться, что мы на земле, взглянул с горы на деревеньку нашу. Дома едва чернели далеко внизу, и похожи они были на комочки, бог знает зачем слепленные самой природой. Огней не было, люди спали, убаюканные лунным приливом.

Наш промерзший насквозь дом на контрасте показался теплым, но нас колотило нещадно: то ли от увиденного, то ли от холода. Хорошо – сухие дровишки у камина. Сидим с котенком, смотрим на огонь и молчим, сидим, как два существа, наполненных таинством, боясь спугнуть неосторожным звуком обретенное чудо, и огонь нам в этом здорово помогает.

Днем я жил среди вековых конвульсий большого мира. Я и сам был источником его предпоследних колебаний. А ночью мне снилась предутренняя зябкая дрожь балкарской землянки. Ни свечи, ни лучины...

Внешнего света не было, но свет был. Иисус в большом дагестанском тазу мыл ноги апостолу. Остальные сидели в полутьме, замороженные зябкой тайной. И черные их тени замерли на серой стене. Святой человек, до крика одинокий, переполненный всеземными муками, мыл большие натруженные ноги заново рождающихся людей.

И я – после праздного, тяжкого дня своего – вмиг утерял груз плоти своей и ощутил любовь большую, цельную, еще не распавшуюся на людские доли. Была долгая-долгая ночь, самая долгая со дня Творения... и как отзвук пяти гвоздей – короткий день. Апостолы исчезли, толпа спала, чтобы послезавтра проснуться народом.

Во сне я выкарабкивался из удушливой уплотненности гор и тяжелой людской сосредоточенности. Мне виделось: утро, ширь и много-много беспечного воздуха.

И пришло умиротворение, прочувствованный выход из тягостной слитности людей и окружи. И оставалось всего-то дождаться утра и шагнуть за порог.

В ОЖИДАНИИ ВОСКРЕШЕНИЯ

То ли поздняя осень укоренилась, то ли грянула весна ранняя – ни луны, ни солнца, да еще и моросило. И жиденский туман плавил и размазывал темно-серые домишки и громадные домины – без разбору. Благо, городишко выстроен абы как – на сегодня. И даже тьма румяных ментов, проживающих на перекрестках, никак не оживляли городишко, а напоминали о стражниках у древних врат Хивы и Самарканда.

И думалось – темен Хана облик и бессмертно басмачество.

В проемах белесого тумана, в траурной цепи, белели окрестные горы. И, глядя на эти дома, понималось, что деньги на их строительство разворованы.

И вдруг, из безлюдья, из-за угла, как рисунок углем Модильяни, нарисовалась девочка-еврейка. И в глазах ее – не было этой улицы, не было этого города, не было этой страны, да и Израиля не было. Воистину Господь рассеял евреев не только в пространстве, но и во времени, спутав им все времена. И для них время и пространство мало что значили.

И в глазах девочки не было меня. И я физически ощутил, что нет меня ни во времени, ни в пространстве.

И стоял я в безвременье: то ли домом у дороги, то ли горой у горизонта, то ли клочком тумана, то ли коробком спичечным, плавающим в луже.

Если нет меня в чьих-то глазах, меня нет вообще. И в этом холоде абсолютного сиротства обожгла и согрела мысль: я есть в этом мире, если запечатлен в чьих-то глазах. И ничего не

изъять и не рассеять. И если рассеяна часть малая, то рассеяны все мы.

Я стоял на перекрестке и ждал девочку-еврейку. Ждал, чтобы появиться в ее глазах и в этом мире. Ждал – как обретения реальности. Ждал, как собственное спасение. Я так виноват перед ней. Мы все виноваты. Виноваты те, кого больше.

В ее глазах не было меня.

Ни миллионы, ни мощный интеллект – ничто не могло направить эти глаза в текущее, в сегодняшнее. Взор ее был направлен в дальнее, в прошлое, в давнее. Она искала обыкновенные камни, те, из которых выстроен был первый храм. И только тогда, когда она найдет эти камни, в ее глазах появлюсь я, возникнут другие, выстроится наш город и из окружающего ничто проявятся очертания страны.

КТО Ж КРАСИТ ПОЛЫ В ПРЕДДВЕРИИ ОСЕНИ

Посвящается Рае Кучмезовой

Неважно, кого ты встретишь в пути, а важно, каким ты вышел из дома. Ты встретишь того, каким ступил за порог.

Еще вчера ничто ничего не предвещало. Было лето, и все шло само собой, без твоего участия. А сегодня роса на блеклой зелени наполнилась матовой мутью, грозясь завтра поутру превратиться в ледяные бусы. А с гор, растущих прямо с краешка моего огорода, терпко запахло будущей лютой зимой. И мне уже заранее тяжело видеть себя идущим по колено в снегу, с громадным бревном на плечах. А в оврагах снегу по горло, а местами – с руками. И нужно будет выискивать брод в завалах снежных. Иду из дальнего леса – поблизости все давным-давно повырубили. За что мои сельчане легко оправдаются перед Богом. Они это знают и рубят нещадно.

Иду, и на спине у меня громадное дерево – благо ума хватило отсечь корневище. Тащить что-то посильное – нет смысла, потому что не понять, что тяжелее – дорога или ноша сама. Как трудно рубить дерево, особенно березу, – трудно, потому что по живому, трудно, потому что по красивому.

Иди, сруби тополь у дороги – будто путь свой обрубил. И ничего на той дороге не найти – можно и не идти. Иди, сруби иву плакучую – сам заплачешься вдоволь. Может, саксаул какой-нибудь? Да где ж его найти. Я же могу вообразить ивовый лес – свихнуться можно – будто нежданно столкнулся с тайной мироздания... и распался на молекулы – поди собери потом себя.

Иве и самой лес ни к чему, ей бы речку незлобивую да людей, привыкших к труду и простору. Дерево срубить так же трудно, как и продать дом, в котором вырос. Потому что по живому, потому что по себе.

Иду, утопая в снегу, весь раскаленный и мокрый – иду под вой киношной метели. Вот где о душе думается, да в короткое время, благо тело чужое, отдаленное, и душа не помеха. И осознаешь – к душе налегке не пробиться. Вот она, почти видимая, как распухшие, красные руки мои, несет вместе со мной это громадное дерево – благо, без корневища, а то и душе бы не выдюжить.

Стою на свежевыкрашенном полу, в пустой и гулкой комнате. Лишь на печке побеленной – черный транзистор, из которого рвутся песни группы «Модерн токинг». Песни вроде ритмичные, почти что задорные, но в осадке – прошлые потери и будущие разочарования. И все это – в преддверии осени. А ты ничего не нажил и считать тебе нечего. Блики солнечные покоятся на красном полу, совсем беззазорные, будто пятна лунные. Ни души вокруг, и не предвидится осень. Лунные пятна, пролитые остывающим солнцем. Свежеокрашенный пол. Я проявился. Я ощутил. Надо что-то делать. Надо куда-то идти. Тягостно в этом холодно-глянцевом безвременье. В село, на завалинку – не хочу. Там речь пойдет о коровах и баранах. Да и они будут какими-то неходячими, увязшими в тяготе осени. Да и живности у меня нет. Ничего такого у меня нет. И сказать мне нечего. В лес? Это ж какое крепкое сердце надо иметь, чтобы войти в этот погожий день в осенний лес? Где сотней скрипок встретит тебя сотня плачущих деревьев. Где зеленые сосны вопиют к небесам голубым, выпрашивая скорый и обильный снег. Где на отшибе полыхает береза в предсмертном огне – будто столкнулся на улице с ярко накрашенной старой женщиной. И огненное отчаяние старости женской опалает и тебя.

Большого одиночества, чем в горах, вряд ли встретишь – разве что в горном осеннем лесу. И полнейшее, зримое одино-

чество у осенней горной речки. Господи, как тоскливо у реки, несущей одиночество многих.

Но в реке форель. Вот наловлю ее и поеду в город к родным. Стану на улице, в толпе, и буду стоять, пока она, протекая мимо меня, не смое с меня всю накопившуюся оцепененность. И тогда, налегке, пойду искать место свое, ощущая движение времени, утепленное людьми.

И стоял я посреди комнаты, и в оступелой нирванности смотрел на свежоокрашенный пол. А из свежей краски, из светлых, холодных бликов на полу лилась давным-давно слышанная песня: «Опять я Башилем люблюсь, как сказкой. Прекрасной, прошедшей и неповторимой. Веселой и щедрой – совсем по-кавказски, и чуточку грустной, как повести Тина, как музыка Грига. Какая здесь осень – волшебница цвета, березки одела в янтарные бусы и все поцелуи бездумного лета зажгла в факела, будто волосы русы».

Нам было по тринадцать-четырнадцать лет. Мы целый месяц прожили среди сосен и мхов, приключений и любви. Мы все влюблены были друг в друга, во все, что нас окружало, а главное – в то, что было в воздухе самом. В день отъезда нас придавило небо, да еще и залило дождем. Много ли нам надо было – мы уже и так были опустошены и обессолены.

В тот миг я понял – животные лизут соль, спасаясь от тоски. Автобус сквозь дождь мчал нас: в город, в школу, к лозунгам на утомленных домах, в неправду. Въехали – неуют, будто после бани облачиться в старое белье. А дождь поливал дорогу, охлаждая разгоряченный за день асфальт, и терпкий, благодарный дух гудроновый, смешиваясь с запахом сосен, вешал о потере чего-то до крайней необходимости ценного и безвозвратного.

И мы, едва не плача, пели: «Дождь по Неглинной рекою струится. Дождь на Фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные и мокрые лица – голубоглазые в большинстве».

И мне жаль стало олигархов. Бедные, хлопнуть бесценное время на сбор кучи денег и безуспешно пытаться купить на них чувства, которые даются только бесплатно. Бедные вы, бедные. Ну нельзя же быть таким несчастным. Одно утешало – с голоду они не умрут, а на большее у них средств не хватит.

Смотрю в окошко, а по горной дороге бредет старушка едва живая. Идет и что-то вяжет. Остановилась. Убрала с дороги камень, дабы человек или животное не споткнулись и не ушиблись бы. А за спиной ее, по склонам зеленым – громад-

ные камни, аккуратно сложенные в квадраты – фундаменты непонятно чего. Они низки настолько, что любой баран их перепрыгнет, а корова, чуть напрягшись – переступит. Но ведь для чего-то городили этот огород, сталкивая громадные камни чуть ли не с вершины и подтягивая другие с самых низин, и аккуратно – камень к камню, складывали их посреди склона. Было ж время у людей, были и силы, и какие...

И почему-то подумалось: да ведь китайцы строили стену великую – не от кого-то, а скорее – для кого-то. Строили, чтобы последующие ослабшие и донельзя грустные китайцы, посмотрев на стену, устыдились бы от сознания мощи былой, затаенной в этом монолите. Вот почему мои предки возвели эти фундаменты из глыб почти неподъемных. Они знали, что я буду стоять на свежоокрашенном полу, на перепутье, когда умирать боязно, а жить не хочется. Они знали, что я увижу мощь давным-давно ушедших, устыжусь немощи духа своего и тела... и ступлю за порог. Какие ж они умные были, те, кто жил до меня. Построив этот прочный фундамент, они предполагали, что на нем я возведу храм по вкусу своему и разумению. На такой прочной основе можно возвести все что угодно. Храма я, конечно, не выстрою, но пытаться буду. Ведь храм – это когда ты строишь. А построил – это уже дом.

Какие ж умницы были мои предки.

Как они чувствовали камень! И знали о нем если не все, то многое. Они знали, что камень не только молчаливая память, но и очень хороший рассказчик. Горцы искренне верят, что камень их охраняет. Уходя из дома, балкарец кладет камень на порог и говорит: присмотри за домом моим, а за тобой Бог присмотрит. На речке, на громадном валуне, небольшой камень – значит, кто-то поймал здесь большую рыбу и поручил маленькому камешку, чтобы он приглядел за этим рыбным местом до его прихода. В лесу – штабелем бревна, а наверху – камень, и никто не тронет нарубленное.

Ходил я по лесу, устал донельзя, собирая сушняк. И натолкнулся на бутылку водки – так захотелось выпить ее с остатку и безысходья глуши, но бутылка та была придавлена плоским камнем, и я одернул руку. Побоялся. Чего? Не знаю. Откуда это? Наверное, в крови?

Старушка на горной дороге и камни на зеленых склонах вытолкнули меня из дома, и я нехотя поплелся в сторону речки.

Смотрю на эту притихшую речку... и вижу «Сидящего демона» Врубеля. Мало того, что не повержен, но он и не демон

вовсе. Это человек, отстаивающий свою божественную суть. Так отстаивающий, что внешне весь почернел. Так обугливается космический аппарат, преодолевший верхний слой атмосферы.

Человек весь опалился, а глаза горят огнем внутренним, противостоя огню внешнему. На сшибке, в высшей точке столкновения этих двух огней, и рождается творчество. Все остальное – баловство, ремесло, средство для пропитания, словесное наперсточничество.

Врубель горел в таком невысказанно сильном огне, где очень легко спутать ангела с демоном. Господи, как силен и крепок человек. И уши себе режут не от умиротворяющей прохлады, а от опаленности невыносимой. Уши себе режут в поиске реального, ибо реальное – это боль.

Впрочем, это вполне может быть и демон, сброшенный с небес. Внешне они так похожи, что кроме создателя их никто и не отличит. Один сгорел, падая с неба, другой обуглился, стремясь в небеса. Огонь небесный и огонь земной спаяли их в единое целое, и назвали созданное – человеком. И не вычленишь из себя, не уничтожишь демона в себе, оставив лишь устремленность свою в ангельское. Просто за одним надо уважительно присматривать, а в другое – верить и любить.

А чуть поодаль я увидел двух рыбаков, одетых совсем не по-рыбацки. На них яркие бейсболки и не менее броские кроссовки и спортивные костюмы.

А зачем им дурацкие сапоги по горло, нелепые брезентовые штаны и куртки? Зачем, в экстазе рыбацком, выискивать пойманную рыбу в мокрой холодной траве? У них электроудочка и громадный сачок. Рыба, как в страшной сказке, оглушенная всплывает брюшком вверх, ее подхватывают сачком и складывают на берегу, как дровишки для костра.

Все без пота, а главное, без эмоций. Так жители больших городов пьют водку, приходя домой почти обезжизненные городом своим и работой. Ни салам, ни здравствуй, ни тоста, ни проклятья – жажнут стакан водки и сидят, помаленьку оживая. В доме своем – как в подворотне.

Эти двое – местные, но живут в городе. Приезжают сюда раз в месяц, или пару раз в году. А напротив их, на другой стороне реки, прямо под высоченной скалой, разрушенное временем и заброшенное людьми село.

Ну кому могло прийти в голову построить дома свои в этом месте? Только тем, кто здесь родился. Ведь нет горы, с которой

не скатывались бы камни, но на эти дома не упал ни один камешек. Это ж как надо чувствовать землю, на которой родился, живешь и жить собираешься!

Эта усталая бледно-зеленая река, эти полуразвалившиеся дома, поросшие лишайником всех цветов и оттенков – от серого до кроваво-красного, были не только остановившимся прошлым, но и какой-то очень важной подсказкой ныне живущим и тем, кому предстояло еще родиться. И только эти две желто-бело-красные кляксы так чужды были этой округе – как день сегодняшний. Река, вместе с округой, вытекает из прошлого и впадает в будущее, минуя настоящее. Река и сама ничего не знает о дне сегодняшнем. Она осмысливает, и расскажет о нем лишь завтра. Господи, как эти два ярких пятна руют благодную затаенность преддверия осени. Они так неуместны здесь, как восточная свадьба в христианском храме.

Тихие заводи лишь у больших камней. Стою у такого камня и смотрю на поплавок. В речку я никогда ничего не бросаю, а здесь, задумавшись, машинально кинул окурок, а он не уплыл. Водная круговерть то уносила, то вновь возвращала ко мне мною брошенное. Вода была холодная, и мне не хотелось самому доставать окурок. Я ждал, что река рано или поздно унесет его. Но он упорно возвращался ко мне, как зримое назидание – мол, все содеянное тобой к тебе и возвращается. Было не до ловли – окурок раздражал меня. И я достал его и, выбросив на берег, успокоился. Сажу на корточках и смотрю на поплавок. В самом глухом лесу, на берегу безлюдной речки, всегда ощущаешь, что ты не один – кто-то всегда рядом. И думаешь – вот сейчас оглянусь и увижу что-то неожиданное и непременно страшное. Заворочались, зашуршали камни за спиной, оглянулся... двое, закутанные с ног до головы в целлофан, и тянут за собой громадную, какую-то морскую сеть. Не во всяком Неаполе такую сыщешь. В Полинезии им никто не удивился бы. Как они здесь оказались?

Где не только моря – пруда малюсенького не сыщешь. Гора на горе, скала скалу подпирает – пройтись еще можно, вздумаешь пробежаться – лоб расшибешь о ближайшую каменку с дом величиною.

Когда ловишь рыбу, другой рыбак никогда не станет рядом, он деликатно обойдет облюбованное тобой место. Пришельцы меня вообще не заметили. Сеть плюхнулась рядом с моим поплавком. Они зашли в воду прямо по пояс, потом вместе с сетью, в которой трепыхалось много рыб, вышли на берег. Я,

немой от растерянности, в полусознании, успел разглядеть их. Один – невысокий, румяный, круглолицый, другой – высокий и на таких длинных ногах, каковых я сроду не видел. Лицо черное, обгорелое – будто он вырвался из самого эпицентра демографического взрыва. Успел подумать: человек человеку не брат, не товарищ, не волк брянский и смоленский, а встречный из параллельного мира. Господи, это они будут пытаться меня в преисподней. Они походили на сортировщиков душ умерших в мире ином.

А они устремились вверх по реке, да так быстро, что мне и по асфальту так не пройти. Шли они – во всем сверкающе-прозрачном – по белым речным камням, и мне показалось, что через миг они упрутся в белые скалы, что у краешка неба. Это после них исчезла трава и камешки речные умерли и побелели. И я замер в ожидании, что из-за камня громадного выплывет Харон в белой ладье, и сам весь в белом, и люди в ладье его тоже белые. Эти двое ходили и убивали берега, чтобы Харону уютней плылось. И, глядя вослед двум мертвенно-светящимся фигурам, подумалось: они – посланцы ужасного нашего завтра.

Так оно вскорости и случилось. Не зря же я полдня в воду смотрел. Видел я потом лицо нового времени, оно состояло из двух половинок: одна половина была румяная, другая – обугленная.

Побледнело все вокруг, и я почувствовал собственную бледность.

Такая слабость навалилась на меня, и до тошноты есть захотелось. Как бы мне осилить крутой бугор и попасть домой. Господи, даже на реке нет справедливости.

Иду в гору, едва переставляя ноги. И вдруг на руку мне вскочил резвый, жизнерадостный кузнечик. Какая умница! Он облюбовал себе хлев, что чернел на вершине бугра, – зимовать же ему где-то надо. В кои веки он доскачет до той вершины. А тут такая мощная оказия – он решил, что я его и доведу. И, глядя на это веселое существо, я и сам, возвращаясь в реальность, слегка развеселился.

Дома затопил печь. Повесил на стену ковер. Поставил стол и стул. И, оглядев содеянное, понял: не хватает цветов, благо их на краю огорода полным-полно. И, глядя в окошко, на камни, сложенные на зеленых склонах Балкарии, почему-то вспомнил город, в который я сегодня не попал.

По краям главной улицы зеленые газоны. На одной сторо-

не рабочие косят механической косилкой и грузят скошенное в прицеп новенького «жигуленка», а хозяину машины остается только сесть и уехать. Благо, сам он неподалеку – весь чистенький, как и машина его, и одет он, как на праздник. Он даст корм своей живности и успеет сделать еще с десятков прибыльных дел.

На другой стороне улицы, в пекло, косит траву мой соплеменник. На нем рубаха с длинными рукавами, штаны десятилетней давности, башмаки мощные, тупоносые, кои и в полусотню лет не износишь. Жена тоже в одеянии всех времен и расцветок. Косарь весь мокрый, крупные капли падают со лба его, зажигая в траве радужные бусины. Мало сам надрывается, еще и жена за ним собирает скошенное в кучу. И неизвестно, найдет ли он машину или нет. Да и машина приедет похожая на косца – то ли «ЗИС» какой-нибудь, то ли «студебеккер» времен войны. У него ума хватило бы купить бутылку водки, и ему накосили бы, рабочим все равно косить. Нет, ему самому надо намахаться до темени в глазах. Приехать домой. Пристроить на гвоздь косу – кадило личное, коим он из года в год, из лета в лето гонит без устали беса из себя. Машет им так, что дым идет из всех пор молящегося. Приехать домой, выпить кружку айрана, съесть кусок хлеба с сыром, лечь под навесом и, не чувствуя плоти своей, смотреть на ближний лес и слушать бульканье речушки, текущей рядом с домом его. Будет лежать, в блаженстве прикрыв отяжелевшие веки, и видеть громадные камни, с любовью сложенные на зеленых склонах Балкарии.

А меж городом и первым селом был родник у самой речки. Я ездил туда купаться, потому что там было много деревьев и мало людей.

Родник со временем полнился тиной, зарастал травой, и стоячая вода вот-вот должна была превратиться в болото. И тогда из ближнего села пришел человек, сделал сток, и родник ожил и благодарно заурчал. Не поленился же человек, пришел с лопатой и Бог весть для кого оживил родник. А рядом речушка и бревно через нее. И на бревне том прибиты ступеньки, да еще и перила с одной стороны сооружены, чтобы пожилые люди могли безбоязненно пройти.

Каждый год половодье сносит этот мост, и каждый раз кто-то приходит и все расставляет по своим местам. Да, видно, не один – бревно больно толстое, да и берег крут и высок. Наверное, он приходит с сыновьями и родственниками. Он и не

ведает, кто будет ходить по его мосту – село его километрах в пяти от этого места. Раньше, за грибами и ягодами ходили пенсионеры. Приходили семьями. И вот для них он и поднимал это толстенное бревно, с любовью ладил ступени и перила. Сейчас в лесу никого. Люди боятся ваххабитов и омоновцев. А человек каждый год возводит мост свой, наверное верит, что в один прекрасный день прекратят борьбу с терроризмом и люди вновь потянутся в леса.

Очень хотелось бы увидеть этого человека. Может быть, я и видел его, да не обратил внимания. Он плохо одет, небрит, малообразован, но какая умница – он один из немногих, у кого воистину высшее образование. Как он сообразил – для того, чтобы расширить мост Сират, надо построить свой мост земной, и главное – не для себя. А чтобы не мучила жажда в дороге той – надо иметь свой родник на земле. Там будешь пить то, чем напоил других здесь.

Не может быть, чтобы человек, много ведающий о жизни иной, не знал, как обустроить страну нашу. У него наверняка уже есть и национальная идея. Она, наверное, проста и необходима, как и мост его.

Он ждет и верит, что страной когда-нибудь будут править умные люди. А подданные будут иметь долю свою с нефти сибирской, воды байкальской и пены черноморской. И каждый будет кровно заинтересован в процветании страны своей, ибо от этого будет зависеть его личное богатство. Все просто, необходимо и безвариантно, как и мост его...

Соорудившие фундамент из громадных камней на склонах гор зеленых – поддержали ослабших, дали силы живущим. Какими же умницами были мои предшественники. Перебросившие бревно через речку и оживившие родник указали самый безопасный путь в мир иной и самое комфортное пребывание в жизни иной. Какие ж вы умницы, современники мои, мои соплеменники, и какие ж вы до умиления несовременные. Вам и время не указ. А указ вам – суть ваша и труд ваш. Я смотрю на мертвое бревно... и ощущаю живые корни свои. Из ближней церкви грянул колокол. И чей-то молодой жизнерадостный голос, возрадовавшись ему, прозвенел из строящегося дома – первый раунд. После второго звона слышалось – второй раунд. Колокол звенел, а голос вторил ему. Счастливый, у него еще столько раундов впереди – раундов тяжелых, но я не сомневался: этот выдержит. А у меня, в лучшем случае, – предпоследний, кричи не кричи.

Этот голос придавал некую осмысленность городскому хаосу. В голосе этом слышался здоровый пульс города. И пульс этот хотел сбросить с себя груды городских ненужностей.

Я шел и наслаждался звоном церковным и голосом, доносившимся из-за кладки кирпичной. И я знал, что это радостное существо видело из окна своего громадные камни, любовно сложенные на зеленых склонах Балкарии. И сами собой в голове складывались слова. Только потрудившись, имеешь право на молитву. И чем тяжелее труд твой – тем короче путь молитвы твоей. Чем тяжелее труд твой – тем яснее смысл молитвы твоей. Не проси за себя – не дойдет молитва твоя. Проси за других, и через них твое обретет тебя.

Если твои слова не будут гореть, как их заметят в свете семи небес. Пробить можно бетон, а сотканное из тончайшего – крепче всего крепкого. Только через пот ощутишь дух. А истончившись, будешь принят тонким. Ракеты, прошивая небеса, лишь ранят их, и боли небесные возвращаются на землю чумой бубонной.

Я смотрел в сторону гор и думал: «Господи, как важно иметь хороший вид из окна...» В доме потеплело, и лунные пятна на свежоокрашенном полу, обогревшись, заиграли зайчиками солнечными. И свет небесный обещал ясную и умиротворенную старость.

Я СЛОВОМ ВРАЧУЮ РАНЫ СВОИ

Для меня литература – вещь прикладная: как пушистая шуба в снегопад, как теплый дом в ненастье, как добрый огонь в доме том, как чаша айрана в болезни и беспомощности, как материнская рука в невзгодье. Литература – это защита себя, то есть любого одинокого человека.

Единственная задача литературы: поддержать, приподнять упавшего человека – и нет у нее задач иных. Все остальное – от лукавого и во имя его.

Пишущие, не надо ковыряться в душе человеческой, вы скажите ему слово, которое поднимет его с колен, стоя ему видно и дальше, и больше.

Окинув взором и землю, и небо, – он сам разберется с душою своею.

Умоляю тебя, упавший, вспомни все хорошее, что было у тебя – ведь были же у тебя свои Божьи подарки, вытаци их из тьмы наносного – и они сами облекутся в слова, и ты еще походишь по белу свету, опираясь на них.

Пишущие, не трожьте душу человеческую – ну нет в ней столько грязи, о которой твердите вы из века в век. Вы описываете все внешнее, наносное и радостно кричите, что добрались до сути. Вы описываете ржавчину, забывая, что над ней радужная сердцевина, о которой ведаёт лишь Бог и догадывается сам человек. Ведь не созывает же людей человек, увидевший эксcrement, – понимает, что это неприлично. Вы же закидали человека этим «добром» и говорите, что так оно и было. Нет, так не было: ходил он по прекраснейшему из садов и ел сочнеешие из яблок – вот это было. Все, что не поддерживает человека, – антилитература, а это гораздо хуже полной безграмотности. Безграмотность не отвергает добра, антилитература ее уничтожает. Литература не вытекает из жизни, она создает жизнь иную, истинную, мало что по сути своей имеющую с проживаемыми нами днями.

Литература – это вкус яблока, жизнь – поедание оногo, вещи очень и очень разные. Писатель – переводчик с жизненного на истинный. Писатель – это милостыня, подавание людское, где каждый отщипнул от своей души, духовности и талантов своих, и даже давным-давно ушедшие внесли лепту свою. Писал ли бы я на необитаемом острове? А чем бы я себя защитил, как не словом своим?

Там я писал бы: и больше, и лучше, только там я смог бы стать писателем, а здесь – я пишущий. У писателя все учителя, но у него нет учителя. У не умеющего писать – есть шанс стать писателем, у умеющего – шансов никаких.

Писатель – это слово, обращенное вовнутрь, слово, обращенное вовне, – это слово, обращенное во тьму болтовни. Писатель – это удивление от слова, привыкание к нему, осмысление... и долгий, долгий путь до бумаги, учась и учась беспрестанно.

Если можно рассказать о написанном – это журналистика, если суть написанного не вмещается в пересказ – это литература.

Влияет литература на жизнь? Вопрос веры и неверия. Влияет и даже формирует – просто мы этого не замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим.

Влияет ли кровь на сердцебиение? Кровь мы не видим – мы

слышим стук сердца своего. Если вы с колыбели будете читать вслух малышу своему хорошую литературу до дня, пока он сам не научится этому, – вы ему дали все, что могли дать в этой жизни. Будут у него неурядицы, но с таким наследством он преодолет их. Этого наследства хватит ему на жизнь, еще другим достанется, да еще и с собой унесет.

Наследство – это то, что не вмещается в комнату, в дом и в миру ему тесно. И дается ему вначале, а не в конце. То, что дается в конце, – это лишь материальная поддержка, и ее не хватит на жизнь, а с собой – уж точно не унесешь.

Если тебя обидит один человек – ты защитишься кулаками, а если их будет пять, десять – может так случиться, что весь мир отвернется от тебя. Как ты защитишь себя? Сколько же сыновей для этого понадобятся? И где та армия, которая ринется защитить тебя? И где те дома, в которых укроешь душу свою?

Если ты построишь дом – он рухнет со временем. Если родишь сына – его сыновья забудут тебя со временем. Если посадишь дерево – то и оно истает во времени.

Все, что сделано телом, – тленно.

Все, что сотворено духом, – вечно.

И когда весь мир скажет, что ты плохой человек, – ты извлечешь из себя слово, подаренное Богом, взлелеянное тобой и приберегаемое тобой на день твой тяжкий, и ответишь им: «Нет, ребята, я совсем не такой, с кем-то вы меня путаете, и свидетелем тому – слово мое, и не нужны мне иные свидетели».

И ничего они с тобой поделать не смогут. И нет на земле лучшего защитника, чем слово твое. Если умрет кто, о нем: или – хорошо, или – ничего.

Если умрет писатель, ты о нем можешь сказать все, ибо говорил он о вечном и подсуден будет вечно. И это – справедливо. Я понимаю важность диалога, значение сюжета. Понятно, что читатель окольными путями придет к смыслу. Но в жизни самой я не встречался с настоящим диалогом, я слышал одни монологи – в лучшем случае они были полифоничны. И как это вся мировая литература держится на несуществующем диалоге – непонятно, потому что – тайна. Я беру в друзья себе всех вражин литературы: патетику, сентиментальность, телячий восторг – и вместе с ними кратчайшим путем пытаюсь продрасть к одинокому человеку. И здесь чеховское: «с холодной головой» – не помощник, а враг. Если мои союзники увидят, что я весь, от головы до кончиков пальцев, не полыхаю, –

они покинут меня, и мне уж никогда не добраться до упавшего. Мне хочется побыстрее донести до цели прямую речь. А цель рядом – одинокий человек, которому нужна скорая помощь, чтобы он мог на что-то опереться и выстоять. И лучшая опора – от сердца идущее слово. И слово то должно быть энергичным, простым, лаконичным, а главное – добрым.

И юный, и поживший нуждаются в малом – хотят, чтобы их погладили по голове. На то и чья-то рука, чтобы покоилась на голове твоей. Но рука стареет и гаснет, а слово нетленно и безустанно.

А то, что земля держится не на каком-то притяжении, а на простом человеческом слове, проще говоря, мы сами, собственными руками, поддерживаем землю, а не какие-то там атланты – это я берусь доказать. Я давно нашел точку опоры, и не надо ничего переворачивать, а надо нести ее рядом с идущим – на случай, если он удумает упасть. И укреплять найденное всеми силами и всей душой своей.

Мой дедушка говорил: «Спасение – на вершине самой высокой горы. Взойдешь сам – натрудишь ноги и останешься тем же. Втащишь чью-то полуживую душу – спасен будешь». Дедушка был большой писатель, мне до него – как до неба седьмого. Просто он не записывал слова свои на бумагу, а подавал их неимущим. Дедушку своего я никогда не видел, но знаю и люблю его больше всех живших и живущих. Если чего мне в жизни не хватало – так это встречи с ним. Если бы я его хоть раз увидел бы – то столько не плутал бы, а большую часть пути своего я прошел бы по дороге своей. Я узнал бы его по большому пальцу, похожему на куриную ножку, его внутренняя наполненность выплескивалась именно в этот палец. У отца был такой же, как у дедушки, палец, и полудикие кошки, жившие во дворе, в куче дров, чувствовали доброту его ладони, а на нас щетинились и фыркали. И когда я встречаю незнакомого человека, я смотрю на его большой палец и спрашиваю: любите ли вы кошек, нравятся ли вам пьесы Чехова?

Если бы я встретил своего дедушку, то жизнь моя сложилась бы иначе.

Но эта горестная и прекрасная Азия, убившая дедушку и родившая меня, что я смогу с ней поделать? Из-за нее я вынужден в этом многолюдье искать и возрождать дедушку моего из большого пальца его. Ибо он для меня тот источник, из которого тонкой струйкой, невидимой и едва слышимой, течет литература необъятная.

ДВОРЕЦ МОЙ В БЕЗЛЮДНОЙ СТЕПИ

Обездоленность – когда нечего дать другому.

После ухода мамы мы собирали поминальные кульки со сладостями: на девятый день, потом на пятьдесят второй. И даже сквозь горе чувствовалось, что делаем что-то не то – пытаемся накормить сытых. Сестру, наверное, Бог надомил: в годовщину поедем в интернат, там все и раздадим, неожиданно сказала она. И мы, ближайшая родня, наполнив «Газель», поехали. Миновав ближайший городишко поселкового типа, поплутав в степи с полчаса, мы подъехали к этому интернату. Дом с колоннами, а рядом: ни жилья, ни людей, ни живности. Степь до горизонта и дом с колоннами – жилище Кафки, земля его собственная. Время забылось в нереальности. И интернат этот предназначался для умственно отсталых людей. К нам подходили обитатели этого дома: у кого – губа заячья, у кого – глаза враскосяк, у кого – шея шире черепа. Обступили разнообразные, невиданные на земле формы, будто фантастичные видения во сне. И странно, от них не отшвыривало, а притягивало, как к неведомому, но долгожданному теплу. Будто прошедший сквозь пургу, подполз к очагу, к горячей чашке чая. Мы жали друг другу руки, обнимались, как фронтовики в первые мгновения после войны. Слов было мало, будто мы давно все обговорили. И в простор милославия, через босхианские формы, на меня нежданно накатили потоки едва узнаваемого, простого, чистого добра, изначально нами забытого, но помнимого только этими людьми. Наверное, так же внезапно нас вбросят в чистилище, и мы испытаем то же самое, что испытывал я, стоя на земле в поле чистом, у дома с колоннами. Да ведь я, оказывается, и не жил вовсе, разве что сейчас жить начал, в миг сей, и миг был такой емкий и долгий и предполагал какое-то долгое продолжение, смывая предыдущую жизнь мою, зряшную почти. Господи, избавь меня от гордыни, хожу я с ней по хлябям земным, не ведая пути своего, и не будучи хозяином дел своих. Сил, как у цыпленка, а гонору – как у ста орлов вместе взятых. Господи, дай мне смирение, а значит, и истинной жизни чуток. Я ведь догадываюсь, что такое смирение.

Смирение – не крест, раскрашенный кровавыми губами.

Не кисти муэдзина в полутьме.

Смирение – не хлеб мой вчерашний.

Не хлеб, о котором мечталось во сне.

Не взгляд мой осенний в продрогшем окне.

Не раскаленный посох, тлеющий в пыли.

Не ставни – до земли.

Смирение – когда в глазах старушских синееет целомудрие весны.

И я жал руки и обнимал этих людей, как носителей той жизни, которую просил у Бога. Мое сокровенное, мое самое ценное, самое необходимое было не во мне, а в них. Один бы я не унес, и Боже дал мне подмогу. Крест свой я худо-бедно несу, но долю свою, от Божьей благодати, один я не унесу. Будто самое ценное свое я сдал на хранение, и я знал, что в миг любой оно вернется ко мне приумноженным.

Санитары сказали: вы сами раздайте ваши кульки по палатам. И мы пошли по изодранному донельзя линолеуму коридорному, вдоль давно не беленных стен. Обитатели больниц и тюрем обретают суть, исходящую от стен этих домов, – грустную суть плохо стиранного старого белья.

– Курить принесли? – только и спрашивали: и молодые и пожившие вдоволь, и женщины и подростки. Здесь очень хочется курить.

– А как вас кормят?

– Хорошо, дают макароны и картошку.

В палатах сидели и лежали холодные и голодные люди и в замкнутом пространстве своем, из бед своих и лишений, вырабатывали тепло, чтобы согреться, и добро, чтобы было на что жить. Им не на кого было надеяться, да такое и доверить некому.

И палаты умиляли ликами с общим выражением, и лики те совсем не хотели вживаться и обретать смысл скорбных стен своих. И за все время я не услышал ни одного шероховатого слова. Слова были простые и теплые, обогретье и взлелеянные ими.

«Спасибо, – говорили они. – Чтобы у вас не было больше смертей, чтобы много радости было». И я, протягивая кулек, ощущал, что не даю я, а беру.

Они ели и смотрели в глаза, и слаще тех конфет я никогда не едал. Из душевой неожиданно выскочил совершенно голый человек на четвереньках, он взял свой кулек и вновь хлопнул дверь. И никто не содрогнулся, не отшатнулся – ну, вышел человек и вновь зашел.

На каждом этаже были свои санитары. Добрались мы до

второго этажа. Стою с кульком в руке и не знаю, кому его протянуть. А санитар, грозно взглянув на меня, рыкнул: «Ты что, уже второй кулек взял себе?»

Боже, да он меня с ними путает. И такая радость хлынула в меня: значит, что-то во мне осталось, значит, не все растерял.

«А, извини», – вспыхнул санитар, не ко времени подобрев, и все рухнуло.

Обошли мы все палаты, двигаясь в безвременьи и невесомости.

Мы уезжали, а они стояли на ступеньках и махали нам вслед, и им очень хотелось уехать.

Едва мы отъехали, я заскучал по этим людям. И мне показалось, что это я, из давнего далека, крохотной ручонкой машу себе, едущему Бог весть куда и Бог весть зачем. Я не мог бы остаться, ибо я не понимал: как можно излучать добро, будучи совсем-совсем одиноким, холодным и голодным? Я уезжал туда, где тепло и сытно, но чем лучше я одевался, чем вкуснее ел, тем дальше и дальше уносило меня от добра.

Как их назвать: умственно отсталыми, людьми с ограниченными возможностями? Да, у них ограничены возможности делать что-то не так, и неограниченные в том, без чего и жить-то невозможно. Их бы не бросить в степи, а поселить в центре города, чтобы брать у них средства: на день свой, на год, на жизнь. Я уезжал, а позади остались: дом с колоннами, схваченный со всех сторон тополями, и людьми на ступеньках, машущими вслед нам руками, и все это стиралось, впадая в сизый кизячный закат грустных деревенских окраин. И вспомнилось название не то повести, не то рассказа Катаева «Хуторок в степи». И пахли слова эти светлой ширью и возможностью выхода, выхода из теснин обезумевшего бытия.

Мы молча возвращались домой. Вымолвить слово не было никакой возможности. Все нажитое – выветрилось, а новое еще не обжилось.

Меж двух дорог, меж мчащихся машин, на клумбе цветочной, лежал пес на правом боку и, сладко подремывая, улыбался. И дремлющий пес, и сизый, без единого яркого пятна, горизонт не завершали день, а растягивали, удерживая долготу дня. Совсем как у Пастернака: «И дольше века длится день».

На одном из домов было написано: «Продается». И мой двоюродный брат, остановив машину, сказал: «Я хочу дом купить, будь другом, узнай цену».

Калитка была открыта, на крыльце стояли двое седовласых мужчин – примерно мои ровесники.

– Салам алейкум! – поздоровался я.

А в ответ – тишина.

– Сколько дом ваш стоит?

Молчат... Эти двое, одетые в какие-то старомодные костюмы, стояли на крыльце и смотрели сквозь меня. Они молчали, им было лень изобразить даже презрение ко мне. Молчание затягивалось. И один из них, оживившись приливом сарказма, крикнул в приоткрытую дверь: «Фоза, тут к тебе покупатель». И в голосе его было столько ехидства, лишавшее надежды купить когда-то хоть что-то.

Вышла крупная женщина в блеклом платье и с блеклым лицом, оглядела меня и, ничего не сказав, захлопнула дверь. И вспомнилась фраза Катаева: «Мадам Стороженко». В двух словах – образ человека, не слышал ничего более емкого и более лаконичного во всей литературе.

...Мадам Стороженко, облитая солнцем, бойко кричала: «Бычки, кому бычки!» и наполнилась жизнью, почти как море за ее спиной...

А эта уже состарилась и сама не знала, что ей надобно. Бывает. Бывает и хуже. Они оценили меня по одежке. Я оделся поскромнее, чтобы не было стыдно перед людьми, к которым я ехал. А они продают дом свой и, наверное, примеряют себе какие-то новые роли.

Ну продадут они дом – на Канары они точно не поедут, вряд ли сошьют себе хорошие костюмы – вкуса не хватит. Вряд ли съедят сразу двух куриц, они сейчас и полкурицы не осилят. Тогда зачем весь этот гонор? Не знаю. Но я знаю, даже надень я свой лучший костюм, все равно я им ничем помочь не смогу.

Наконец один из мужичков, смилостивившись, сказал: «Дорого стоит дом, дорого». С тем я и ушел.

И что же мучался я – неужели день мой вместился в катаевских словах: «Хуторок в степи» и «Мадам Стороженко».

И уже подъезжая к дому, я увидел одинокий тополь у дороги. Когда я вижу тополь, мне хочется молиться. Если долго стоять около него – сам превращаешься в молчаливую молитву. Я не могу представить киргизскую юрту без тополя, растущего рядом, так жилище надежней кажется. И умильные всплыли айтматовские слова: «Тополек мой в красной косынке».

И как вообразить украинскую мазанку без тополя, растущего рядом?

Но тополь – всегда у дороги, а не у дома. Тополь все время в движении, он странник неустанный. За березами всегда ощущается оседлость, жилище человеческое. Береза как бы пришла, светло обустроила округу и никуда уходить не собирается. Когда я иду по большой дороге, вдоль тополей, то полностью оптимизмом – ведь люди, сажавшие их, поняли бродяжью суть тополиную, поймут они и цену живущих рядом... И не так уж безысходна жизнь, которую, по неведению своему, мы соорудили.

Тополь – это всегда выход, выход зримый. Жизнь тополя, как и жизнь человека: дорога и молитва.

Человек, как и тополь, не чувствует, что молится.

Помолюсь тополю, посоветуюсь с ним и выйду в день новый. И мне все дано, и все понятно. Уступлю тополю дорогу и пойду в такт дышащей тверди земной. Мне всего-то надо: не обогнать его, а иначе заблужусь. Тополь мой, странник и домосед, скромное обличье вкуса, ибо вкус и есть все понимающая, всех понимающая обиженная нами скромность. И в трудную минуту я вспомню тополя вокруг дворца моего в степи безлюдной, тополя, которые молятся и охраняют людей, у которых я оставил все свои ценности.

МЫ ЖИЛИ РЯДЫШКОМ С ГРААЛЕМ

Мы пастыри себе и паства,
И пасться нам легко.
Мы вчера родились и ничего
Позабить не успели.

Молодые безработные парни с окрестных сел, мы строили баню в Башиле.

Конец ноября, много снега, финские домики изнутри поросли инеем, света не было, но были: соль, спички, мука и тушенка – все необходимое для войны и мирного строительства в горах. Благо, были керосиновые лампы, мы нагревали их, укутывали их в старые свитера и грели ноги перед сном, и это здорово нам помогало. Мы умели петь и строить. Больно холодно было, а с песней теплее, да и строилось легче и лучше.

Перепев все знакомые песни, мы на все голоса горланили арии из нами же сочиненных опер, на темы: строительные, личной жизни и политики правительства – нам плевать было на то, что где-то растут тюльпаны и прямо на головы людей падают апельсины. К вечеру мы ругались, выясняя почему раствор оказался жидковатым и камни попадались круглее, чем того хотелось бы. Песни пели во всю мощь своих молодых легких, благо зрителей не было – лишь белки, вроде нас скачущие с места на место, да дремлющие горы спросонья отзывались ленивым эхом. И эхо то было близким отзвуком на слова наши и давним, долгим отголоском песен тех, кто жил до нас.

Отец ушел на фронт с тремя братьями. Два брата навсегда остались в Сталинграде, третий погиб неизвестно где. Отец вернулся, кто бы его сейчас вспомнил бы, разве что эхо горное, но кто бы догадался, что это голос моего отца?

Отец работал районным судьей. Более всего мне не хочется быть: судьей, писателем, учителем, священником; боюсь не то скажу, не так сделаю – ответственность уж очень большая, неподъемная.

Отец работал районным судьей. Газеты писали о напряженности вокруг озера Хасан. Завтра должна была начаться война, и все это понимали. Женщины и мужчины (женщин было больше, мужчины как-то стесняются открытого проявления добра, женщины же и в добре, в и зле – безоглядны) громко просили Бога, чтобы Он сохранил жизнь моему отцу. И Боже из дальнего далека своего услышал просьбу людскую, сказанную на краюшке горного села. Много лет спустя отец сказал своей родственнице: «Я выжил потому, что за меня просили люди». С осознанием этого факта отцу был ниспослан один-единственный талант, но самый важный на этой земле – любовь к людям.

Для него слово *люди*, значило – человек, а это самая большая редкость и благо, а мнение иное – самая большая беда среди живущих. Осознание идентичности людей и человека – есть наивысшая форма любви земной.

Наверное, эти люди вышли к Богу, потому что отец давал срок меньше, чем того требовала бумага? Наверное, у него была своя оценка поступку человеческому? Наверное, он поступок соизмерял с самим человеком? Нам от этой жизни достается по максимуму, просто прожив, мы уже отсидели за возможные преступления свои, а если и сажать будем друг дружку

по полной, кто же будет на земле этой и какие это люди будут, и какая жизнь? Обо всем этом я отца не спросил, и не потому, что неинтересно, просто я стеснялся с ним разговаривать.

Воевал отец на озере Хасан, после попал на финскую, и тут же грянула Великая Отечественная. Вернулся на Кавказ – своих нет, догнал-таки аж в Средней Азии, благо разгон был мощный. Это какой же путь одолел человек: с Кавказа на Дальний Восток – оттуда, через Румынию, Польшу, Венгрию, Югославию, – до Чехословакии. Из Чехословакии на Кавказ, оттуда в Среднюю Азию и вновь на Кавказ – перечислить тяжело, а одолеть? Непросто эту дорогу пройти, собирая апельсины, так еще же воевать надо было.

Встретились мы с ним в 1948 году и прожили вместе тридцать лет.

А вернулся он с несколькими медалями на груди – и это за три-то войны?

И когда на День Победы он надевал свои юбилейные медали, среди изобилия орденов это было так трогательно, что я – кроха, проникался к нему отеческим теплом и умильной жалостью. Да, именно отеческой – это так здорово, что становишься отцом своего отца, и здорово, что никто об этом и не знает. И неважно, что отцу-то всего четыре годика. Важно, что ты цельный, что ты защищен необъятным шатром небесным и не раздроблен твердью земной – самое время ощутить себя отцом. Возможно, когда-нибудь ты будешь родителем, но это не значит, что ты стал отцом. Дети всегда старше отцов своих, ибо родились они позже родивших их и состарились вместе со временем и стали старше на целую жизнь, прожитую отцами.

Мы пели и строили. Все бы хорошо, да вот – консервы закончились. Столько я этой кильки поел, что чувствовал себя аборигеном владивостокских окраин. Да и от товарищей моих несло рыбьим духом, как от крупного поселения поморов.

И решили мы сходить за туром – благо, была у нас двустволка да туры на нашей стороне хребта. Тур ушел из Сванетии – там нет ни одного. То ли им балкарцы по нраву, то ли здесь советской власти побольше, то ли у сванов с аппетитом все в порядке – кто знает.

Двое пошли на охоту – остальные работали и с нетерпением ждали охотников.

Охотники вернулись без тура. Тур-то есть, но больно большой, да и идти за ним далековато, так что всей бригадой при-

дется нести его – объяснили охотники. И чтобы не столкнуться с редкими, но вредоносными егерями, надо идти за ним в полночь.

Снег выбелил все, что еще совсем недавно было реальностью. В светлой полутьме сосны и скалы вратами вечности чернели перед нами. И мы, вытянувшись в черную цепочку, шагнули в те ворота. Мы шли вверх по ложбине меж скал, проваливаясь в снег по самую грудь. Снег был рассыпчат и сух, тропа не утапывалась. Чтобы продвинуться вперед, мы упирались носами в крутизну, выгребая перед собой снег руками. Мы шли, будто на ходу молились. Мы не шли, мы плыли по снегу. Наверное, вечность, притаившаяся в синеве небесной, видела нас вот такими неловкими, несуразными существами, плывущими по снегу. Ноги проваливались в невидимые ручьи, застревали меж камней. Я весь взмок, по мне текли струи пота. Мне казалось, что я потерял свое тело в этих местах, и оно растаяло и стало ручьями, что текли у меня под ногами. Снег пах католическими сутанами, мечами крестноносцев, черной краской банков, в бликах снежных улыбалась Джоконда, вобравшая в себя сочную суть бытия и оставившая вовне тоску выхолощенных побрякушек быта.

И вспомнились слова Пастернака, сказанные Кайсыну: «Над Вашей головой сошлись стрелки Запада и Востока». Да нет же, стрелки не сами сошлись – западную культуру Кайсын почувствовал, зарывшись носом в Чегемские снега, – так же, как чувствую сейчас я.

Много снегов выпало на голову Кайсына, и который из них поведал ему чужую северную сагу – кто знает?

Чегемские снега дали ему ощущение грани между западным холодом и излишним, до ряби в голове, восточным многоцветьем. И по грани той, по тропе срединной, по своей золотой тропе и пошел Кайсын.

И мы шли черной цепью по темному снегу, шли и чувствовали, что где-то там, за скалами черными, в истоме желтой томится щедрая луна. И мы доползли-таки до нее. Скалы оборвались громадной поляной, на которой мы лоб в лоб столкнулись с белыми горами. И все это горело, переливалось бусинками радужными. На темно-синем летнем небе подрагивала взволнованная луна. Господи, да я же в чаше Грааля – обожгло меня, обессилено лежащего в снегу, вмиг просветленного – перед глазами поплыли кадры с космонавтами в

открытом космосе. И тело мое, со всем нажитым и прожитым, осталось бог весть в каком-то не в моем далеко.

Гра – а –а –а –а – ль – позванивали вмиг помолодевшие Чегемские скалы.

Чаша Грааля была пуста, но в ней умещались все жившие когда-то и ждущие мига рождения своего. Чаша Грааля была пуста, но в ней было все. И подумалось: «Безумие – это все то, что именуется «здравым смыслом». И «трезвость» – зримый облик безумия».

И тогда, как подтверждение мыслей моих, явилась Офелия – и пахла она здравым смыслом. И глазницы мои наполнились и никак не могли пролиться, потому что я не мог приподнять голову, лежа в восторженном оцепенении, не чувствуя ни холода, ни времени. Я вслушивался, не дыша, в этот запах, я так давно его не слышал, аж с самого детства – с того огурца, изведенного мною в том далеком азиатском пекле.

Я не искал Офелию, как Блок всю жизнь ее искал в продрогшем Петербурге. Она сама в Чегем пришла – Кайсын тому свидетель, луна, да горы.

Мои друзья чернели клавишами в полыхающем многоцветии снега и нельзя было разобрать: то ли они часть огромного, включая небо, инструмента, – то ли музыка сама.

Господи, как я соскучился по здравому смыслу. Я так долго не встречался с ним, потому что здравый смысл всегда лишь – запах, ощущение.

Я увидел его лицо, смотрящее в вечность зыбкую, сквозь хрустальное марево чаши Грааля. Прекрасная трагедия Блока – пребывание тела его на земле, а души – в чаше Грааля. Грааль всегда неподалеку от тебя, но нет на свете более дальней дороги. И чтобы одолеть этот путь, надо до забвения земли натрудить плоть свою и дух, вырвавшись из изможденного тела, и осилить эту дорогу.

Измученная душа Блока, всю жизнь искавшая Офелию, нашла ее – это и была гармония. И это видели замершие в умилении горы и остановившаяся в темно-синем небе удивленная луна.

Бог создал женщину из ребра, задача у мужчины более сложная: из доли, из маленькой частички, оставленной Офелией женщине, он должен создать Офелию целиком. И другой задачи нет у мужчины. Решив ее, он решит все остальные. Просто в мире задач никаких и не останется. И если он с нею справится, то только тогда о нем можно будет сказать: «Он

настоящий мужчина». Горький писал: «Блок всю ночь гладил проститутку по голове».

Горький говорил об этом с дружеской иронией и непониманием.

А это был наивысший момент в творчестве Блока – он из частички женщины лепил целиком Офелию. Как говорил Фолкнер: «Смелость попытки». А это была сама смелость и она не должна быть какой-то иной – только такой. Смелость и есть поиск Офелии. Найти ее надо, чтобы шкуру свою спасти, а потом уж и душу, если от нее хоть что-то осталось. Найти Офелию – это и есть национальная идея всех стран и необходимое условие для выживания землян в целом.

Найдешь Офелию – не будешь умирать в тридцать лет в какой-нибудь канаве от какой-нибудь самопальной водки, и не пришибут тебе бестолковку в ближайшей подворотне – ибо родит Офелия не от отморозка, а от человека. Не будешь ты лежать убитый на чеченской равнине или в горах Таджикистана, – ибо родит Офелия мужей государственных, и они не пошлют тебя неизвестно куда и неизвестно зачем. Офелия – женщина, видящая в прохожем и мужа и сына: мужа – чтобы любить, сына – чтобы жалеть. Ищите Офелию сегодня, как всю жизнь искал ее Блок, – завтра искать будет нечего, а главное – некому.

Офелия – дух святой, вселенный в человека. Она, как и дух святой, безмолвна, бесконечна и неуловима, как сам смысл, смысл, который не поддается умственным изоощрениям, его лишь можно ощутить и уверовать. Офелия – как спасение, приходит в полнолуние, для того, чтобы и ты спас кого-то. Женщина всю жизнь ищет Офелию, сама того не осознавая. Она и детей стала рожать меньше, чтобы времени побольше оставалось на поиски. И загадка женщины – ответ Офелии, томящийся в самой женщине.

И горе тому, кто разгадал эту загадку – женщины таких не любят. Они не могут поделить любовь к Офелии с кем бы то ни было. Блок, один из немногих, кто проник в эту тайну, и в этом его счастье духовное и трагедия бытийная. Офелия – праматерь всех литературных образов – литературная Ева.

А матросов в Петербурге было больше двенадцати. И не было Христа «в белом венчике из роз». И шла по Петербургу Офелия, «дыша духами и туманами», шла, собранная из единства реальности и грез. И шел Блок, шел сквозь серый вечный сон почерневших людей и домов, шел, держа в окоченевшей

руке белый лист бумаги – обыкновенную жалобу обыкновенной женщины, шел, тщетно ища человека, которому был бы понятен вселенский смысл слов обыкновенных. Все творчество Блока – это поиск Офелии.

А округа пахла еще и сущностью Чехова, одного из самых петербургских писателей. Может быть, он и жил в Москве, но писал в Петербурге, не проживая там.

И лежа в теплом чегемском снегу, я думал: «Господи, так вот откуда тайна чеховских пьес – она отсюда, из чаши гор чегемских». Я встретил его здесь и озарило: Чехов – незамутненный потомок варягов. Слово Чехова выросло из скандинавских саг, а вся скандинавская литература держится на чеховской корневой системе (хотя она может и не осознавать этого). Чехов соткан из тончайшей северной мистики, пахнущей свежесвыпавшим снегом, он и видит Россию сквозь слегка притуманенный ледяной кристалл. По большому счету, слово Чехова – взгляд из Грааля. И не зря он родился у моря. Море приносит не только сор земной, но и память о далекой прародине, вещая о прохладных тайнах фиордов и вещих криках северных птиц – отсюда и «Чайка» в центре России, и «Иванов», стоящий среди тундры неохватной... и никого на всем белом свете. И нет опоры вовне – никто не слышит, как грустно позванивает в груди именной стерженечек. Они не слышат этого тихого набата памяти. Этот маленький стерженек ни к чему им – мало того, он может разрушить их жизнь, которую они проживают в обмен на эту невидимую, бесполезную штучку, что связывает разные разности в целое – единую культуру. Чехов и есть та неразрывная и все понимающая нить, что навсегда связала: Скандинавию, горы чегемские и Русь необъятную. Культура – и есть неразрывность собственного развития и памяти о бытии чужом. Из слов Чехова капелью неспешной на землю русскую капала музыка Грига. Прямо на снегу сидел донельзя усталый, сверх меры всякой умиротворенный Дон-Кихот, а на голове его сиял венок из лунной капли и снежного многоцветья. Неспешно прогуливался Кайсын – как человек, неплохо знающий эти места.

Здесь были все, здесь было все и здесь не было ничего, кроме лежащего на спине громадного тура.

Я взглянул ему в глаза и ахнул: это были глаза не мертвого существа, а взгляд живого, видевшего жизнь в изначалье, и взгляд, устремленный в бесконечье жизненное. Я взглянул на небо, темно-синее, полуденное небо, освещенное лунной,

потом посмотрел в темно-синие громадные туры глаза, глаза не убитого нами, а пожертвовавшего собой осознанно существа, и взгляд этот не ведал смерти.

Я оглядел округу: моих друзей, застывших около тура, обросших и одетых в рванину... И враз наполнился любовью ко всему и всем: и к луне, и к горам, к друзьям своим и туру. Любовь эта была цельная и из нее никого и ничего нельзя было выделить. И озарило: Платон в чьих-то глазах увидел нашу землю с высоты, до которой никакой птице не долететь. И неважно, были ли эти глаза ничего не знающего человека, или глаза всеведающего тура.

И я увидел Махатму Ганди, в белой тряпке, накинутой на изможденное тело, мокнущего под лондонским дождем, босоногого и просветленного. И его встречает британский премьер, в теплом черном костюме, в надраенных до блеска неземного ботинках – и черный громадный зонт над его головой в руках сладкого лакея. И жаль стало этого уже немолодого, морщинистого человека, одолевшего неимоверно трудные дороги, после которых на лице осталась пустая паутина найденного. И жаль было человека, простоявшего всю жизнь с зонтом в руках над чьей-то несчастной головой. И я точно знал: в таких ботинках, в таком костюме под таким зонтом – никогда не дойти до Грааля. И что все Канары с Багамами и миллионами – шкорки арбузные в сравнении с мигом граалевым. И как далек Грааль от тех мест, где с деревьев, прямо за пазуху, падают апельсины. Грааль неподалеку от того места, где «из камня выжимают зерна».

Я смотрел на обросшие щетиной, розовые от мороза заколдованные лица моих друзей и чувствовал, что и они переполнены любовью и жалостью, слившимися воедино, и еще удивлением: как много всего этого в сияющем всеми земными и небесными цветами родной пустоте. Мы пупырышками на коже ощущали эту любовь и эту жалость, существующими сами по себе в этом разноцветном, восторженном воздухе.

Люди разрушают созданное не потому, что им нравится это занятие – они ищут правду, а правда есть благодатная пустота, а на пути к пустоте той преградой стоит созданное.

И во времени есть заповедные места абсолютного добра. Зло же бесприютно, оно вечно занято внедрением куда-нибудь и во что-нибудь.

Средь сваленных лавиной деревьев вырубил деревце потоньше. А отзвук топора отсчитывал последние наши мгно-

вения в Граале. Надо было возвращаться на землю. Но где бы мы ни были мы уже не сможем жить по иным часам, ибо не будет более точного определения нашего пребывания во времени, чем этот набатный отзвук топора с вечным призывом вернуться, если потерял ориентиры. Да и ориентиров не много – он всего один. У выбора нет множественного числа.

Громадную лесину привязали к ногам тура. И это не было транспортировкой – это был ритуал: здесь не было мертвых, здесь встретились живые, просто живущие в разных временах.

Тащить тура волоком не было никакой возможности – мы проваливались в снег вместе с ним, потом откапывали и его и себя. Утопая в очередном сугробе, я увидел дедушку, сидящего теплым, летним днем в городском дворике своем. На плече его блаженствовал кот, другой растянулся на коленках, рядом с Кораном, дедушка неспешно перебирал четки. Кошки урчали на разные лады, утопая в былом и приятном, настраивая дедушку на время, которое должно было бы быть, но его почему-то нет. А дедушке, ох как, нужна была устойчивая позиция меж Богом и коммунистами, и никто ему не мог помочь, кроме этих пушистых существ. Дедушка был эфенди, поэтому посоветоваться было не с кем. Меж ним и Богом была тьма воинствующих людей, воюющих против себя.

Кошачье урчание – как слышимая и ощущаемая гармония, как чей-то лад умиротворенный, укреплял его душу в дороге трудной на пути к Богу.

Дедушка двадцать лет учился духовному и светскому в Дагестане, дошел по воде до Стамбула. И ходил он не за умом и не для того, чтобы потешить грустную душу чужедальними диковинами. Чужое нужно ему было, как свидетельство бесценности собственной землянки, среди знакомых, как кошачья шерстка под рукой, колючих скал, откуда до Грааля – шаг ступить.

Если мы побывали в Граале, то это был щедрый Божий подарок, а дедушка родился и прожил неподалеку от Грааля и он знал это. А иначе сдал бы Коран в ГПУ и со временем стал бы секретарем райкома – с его-то образованием. И жил бы себе припеваючи: драл бы собственное горло и заодно последнюю шкуру с ближних и дальних. И сейчас какой-нибудь тупичок носил бы его имя.

Да что там Коран, да что там люди, живущие с тобой в одно время, – съесть бы чашу чечевицы.

Как хорошо раньше было: хлеб двадцать копеек стоил – говорят мои сверстники, а кто постарше – тех хоть в три ночи разбуди – подтвердят, не разлепив глаз. Да нет и никогда не было ничего дороже большевистского хлеба – двадцать копеек, собственная суть и свобода в придачу. До такого обмена никакой бес не додумался, да хоть соберись они все вместе, сколько их там на свете белом – куда им. Дороги нужны, как свидетели бесценности отчего дома – и нет на свете лучших свидетелей. Предавшему забвению отчий дом не преодолеть и самой короткой дороги. Иду ли я далеко и за значимым, или на базар за редиской – выхожу за порог с именем твоим, Дед.

А дороги ничего не несут, кроме событий, а события дружно говорят: все, что есть в этом мире, – все в доме твоём. Дороги ничего не дают, хоть и кажется, что ты обретаешь идя. Они и не призваны что-либо давать, они просто показывают: что ты имеешь и чего ты лишен. Если ты вышел в дорогу за куском хлеба – ты обретешь и хлеб, и сверх того.

Если ты сыт, и на тебе штаны, и ты вышел в дорогу обрести сверх того – считай, что ты вышел погулять. Ибо в дом нельзя занести ничего лишнего, а если тебе это удалось, так это уже не дом, а хранилище, и это уже не ты, а сторож этого хранилища.

Дедушка осознавал великую пустоту Грааля, он понимал, что она есть и смысл жизни, и единственная опора в этой жизни.

А событие – это то, обо что спотыкаешься... и падаешь на другое событие... и жизнь собираешь из сплошных падений своих. Верующему в события – всегда пребывать на коленях и никогда не ощутить опоры под ногами...

Мы ползли, плыли и падали в снежные ямы, в которых по частям и хоронили веру в события. А потом нас, огромной волной Грааля, вышвырнуло к соснам, среди которых и были наши жилища. И сосны – как стражи у входа в мир иной – встретили нас угрюмой предсказуемостью, и мы почувствовали, что это была граница жизни и проживания.

Промерзшие половицы встретили нас скрипучим ворчанием. Они отторгали нас, как чуждый, впервые осязаемый ими дух утерянной домовитости, привнесенной нами.

Друг мой долго ломал спички в темноте, все-таки ухитрился зажечь лампу. Ему быстро удалось скинуть ботинки и зарыться в груду старья. А мои пальцы никак не хотели ше-

велиться, и сжать их не было никакой возможности. После долгих трудов я одолел ботинок. А со вторым у меня ничего не получалось. Шнурки вмерзли в башмак, а башмак примерз к ноге. У друга тоже истаяли все силы, и он не мог подползти мне на помощь и лежа советовал за какой кончик шнурка мне дернуть, но у нас и вдвоем ничего не получалось, и я так, в одном башмаке, и опрокинулся на кровать.

Тела я не чувствовал, лежа в мерзлом небытии. Вдруг я услышал, как в этом безвременьи засмеялся мой друг.

– Ты чего? – спросил я.

– Да вот вспомнил знакомого своего. Он говорил, что самую большую роль в его жизни и судьбе сыграли шнурки. Встречался с девушкой, а в темноте никак не мог справиться со шнурками и любовный был момент упущен. Сейчас ему видно полегчало, сейчас липучки придумали. Да и не ему одному – такая мелочь, а как человечеству помогла.

И мы гоготали, радуясь за его знакомого, заодно и за остальных живущих. И сквозь наш гогот я услышал смех дедушки, которого я никогда не видел.

В Азии из дальнего села к нему прискакали киргизы. Прискакали – это предполагает: движение, вторжение, агрессию, а эти слова так не увязывались с этим народом. Дедушка говорил: киргизов Бог создал, чтобы земля не пустовала. Киргиза я вижу среди многочисленного семейства, прихлебывающего чай в тени дерева и поедающего арбуз. Уютное племя – будто колыбельная посреди колючей жизни. Прискакали киргизы: «Узеир-ака, спаси, которую неделю без дождя, все вокруг гибнет, и мы умираем». Дедушка сказал им, чтобы они принесли лошадиный череп, благо этого добра было вдосталь в округе – конину здесь любили. Дедушка весь череп покрыл какими-то письменами, и киргизы, довольные, ускакали. Дня через четыре они, пропыленные, вновь предстали перед дедушкой.

– Узеир-ака, останови дождь, который уже день льет, боимся и нас смочет.

Киргизы ускакали, а дедушка смеялся так, что слезы катились из глаз его.

И в комнатную мерзлоту стало вливаться азиатское тепло, и запахло изысканным духом арбуза, дедушкиным смехом вперемежку с детскими слезами на его так много видевшем лице, и осозналось, как все это близко: и край света, и давным-

давно ушедший дедушка, и Грааль – и все это уместилось под маленьким одеялом.

О том, что пришла весна, мы узнали по календарю. Ветер вместе со снегами унес устойчивость и определенность во времени и мыслях. Сосны печально дули на сожженные морозом, желтые крылья свои. Безжизненно бледнела трава, превращенная зимою в сено, на корню. Снег, уйдя, оголил черно-красные болезненные отметины на ликах скал. И непонятно было: то ли это ранняя осень, то ли само преддверье зимы, а календарь показывал весну. А округа горько и бесстрастно выдыхала нашу неминуемую старость. И кто бы мог подумать, что это зримое предсмертие – предбанник Грааля. Это ж надо было так замаскироваться. Но это был запоздалый маскарад уныния – мы-то дорогу знали. Прекрасное вынуждено забрасывать путь к себе безнадежем, боясь сглаза, глаз чуждых.

Да и нам надо было собираться в дорогу: туда, где не жертвуют собой туры, где не алеют в мягком мху бусинки брусники, где детским смехом не рассыпаны по зеленому жизне-радостные маслята, где щедрые сосны не раздадут приходящим щемящий дух вечной юности.

Мы ехали в кузове грузовика, вместе с гулом реки, ехали по темени теснины. Вокруг ни единого светлого пятнышка, а наверху: ни цвета небесного, ни света солнечного. Наверное, так встречаются и так расстаются с чем-то очень значимым. Наверное, тайна и есть емкая полутьма, где все наощупь, все кожей – и глаза тут ни при чем. И когда нас вынесло из ущелья, то оглушила громадина неба и выкинул из реальности свет солнечный, и закружило голову разноцветье трав, будто по охотке хватанули по стакану спирта, наверное, так рождается ребенок. А люди были легкие, полуголые и уносило их, как листву осеннюю, и не понять было: то ли это весна, то ли лето бабье. Шофер сбросил нас в городе, объяснив, как дойти до конторы, где лежали заработанные нами деньги.

Господи, как много машин, как трудно перейти улицу – легче одолеть горную реку вброд.

В конторе нас встретила равнодушная, осенняя женщина. Полистав бумажки, она каждого из нас одарила деньгами, но их не набиралось и половины от заработанного.

В ушах и на руках у нее горели крупные бриллианты и, глядя на них, подумалось: как много людей с продрогшими, недозрелыми глазами, будто они только что всплыли со дна

морского и еще не успели отогреться. И почему-то стало жаль себя. Мы шли туда, где высились большие дома, убившие пространство. Архитектура – и есть убиение пространства. И над этими пустынными нагромождениями серебряными маяками светились горы. Мы шли по направлению к ним, мы шли, как люди, знающие дорогу. Нас было меньше двенадцати, но нас ждала не Вечеря, а Заутреня грядущего дня. И свидетельством тому были белые горы впереди и ласковый весенний ветерок, деликатно шествовавший за нами.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДОЛГАМ МОИМ

Шедевр – это краткость звука
И бесконечье отзвука.

Тогда, в реанимации, подумай я о душе – то ушел бы вслед за ней.

Меня затормозили обычные, не Бог весть какие житейские мыслишки. Сквозь болючий туман впереди моей коляски плыли два светло-бирюзовых пятна – медсестры в халатах. Иногда эти пятна сливались в одно, ввозя меня в детские бирюзовые рассветы, зачарованные красно-желтым полыханием земли азиатской.

А за окнами, наверное, туман – ведь в палате все белым-бело: и стены, и простыни, и даже кровати.

Сидя в коляске, я вспомнил давний больничный разговор с одним очень здоровым парнем, оказавшимся в больнице по причине косоглазия – он плохо видел себя в рядах то ли советской, то ли Красной Армии. Да, еще он курил красную «Приму», исписанную такими словами: «Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, сигареты пятого класса, курение опасно для вашего здоровья». Текст навевал ему мысли о бандитах ростовских, о раненном в голову Щорсе и цветущем цветом золотым, несмотря на такую потерю, Чубайсе. И любому врачу было понятно – человека надо спасать. И понятно от кого. Чтобы как-то скоротать больничное время, я спросил у него: «А какая у тебя мечта?» И это ясноглазое существо – кровь с молоком и чао-какао, не задумываясь, ответило: «Я хочу быть здоровым, но чтобы меня катали в коляске». И ему верилось, потому как мечта его срослась с целью и переросла в еди-

ную, неделимую убежденность. И сидел я в кресле-каталке, скованный болью, но внутри боли той, как живительное пощипывание, зарождался смех. Надо же, мечталось кому-то, а перепало мне. По-крупному мне всегда везло. И вспомнилась маршрутка, в ней одни женщины, и я смотрю на них и думаю: какие они счастливые, они не попали в число тех семнадцати тысяч, которых ежегодно убивают мужья и любовники. А они безмятежно едут себе, почти счастливые, и не ведают об этой печальной статистике. Блаженны незнающие, блаженны неведающие. Вспомнился мужик-верзила из телевизионной «Дежурной части». Он подходил к ребенку и просил у него велосипед покататься. Поймали его на десятом велосипеде. Я представлял громилу на детском велосипеде, и мне было смешно. Я видел расстроенного малыша, и мне было грустно. Детский велосипед – пустяк вроде бы, а какую веру угробить можно в этом, все впитывающем, существе. А утеря веры – безвозвратна. А без веры он просто оболочка.

Хорошо, если парень умный, хорошо изнутри сложенный – понимает, что опыт не собирать нужно, а просеивать через детский безошибочный камертон. А если нет, а если не все так гладко с наследством, а если начнет копить в себе этот «опыт», да в нужный момент не поможет нуждающимся?

Да это просто Джек-потрошитель на велосипеде детском. Господи, как бесконечно, многолико убийство.

Вспомнился давно ушедший отец мой.

«Сынок, у тебя есть хоть капля гражданской совести?» Тогда еще такая была. Сижу себе и думаю: «Тут хоть обычной бы наскрести в продрогших сусеках своих». «Вот я выйду сейчас на улицу и наберу полную арбу женщин. А ты седой уж наполовину – пора бы о семейной жизни подумать».

Я вижу отца и полную телегу женщин. И мне, сквозь боль мою, смешно. И выплыло уличное: «Жизнь научит смеяться сквозь слезы». И мелькнуло: «Как же я с такими несерьезными воспоминаниями предстану перед Богом?».

Между мной и Богом были две девочки-медсестры, они стояли с двух боков, прижавшись ко мне бедрами, и лепили на грудь мою какие-то присоски. Какие у них крепкие ноги, а я думал – женщины пушистые. И эта женская прочность удерживала меня на земле, не давая раствориться в манящем, бирюзовом бесконечье. И подумалось: вот так стоит дом с сиренью под окном, с цветами на подоконнике и ликом Девы Марии на стене. И у меня не было возможности уйти. Боль-

ничная палата – вроде потустороннего отстойника: ты еще не там, но и здесь как-то не весь.

Я спросил у печального больного: «Что, инфаркт?»

– Да, почти, – безжизненно буркнул он.

– Из-за жены?..

Он посмотрел на меня одним, чуть ожившим глазом, другой – был надежно захлопнут.

– Откуда ты знаешь? – услышал я голос со слабым, но уже интересом к жизни.

– Обидно, – сказал я, – будь какая уличная знакомая, тут ведь своя, живешь вместе, хлеб и душу пополам, а тут – хлоп, как из-за угла, и прямо в сердце, и если повезет, то шрамы на сердце том, а если нет... то нет.

Он, вроде, чуть ожил, но мне показалось, веселее ему не стало.

Инфаркт – результат встречи с неожиданным, с чем встречаться не предполагал, а тем более, не желал. Сознание отвергло это отвратительное нечто, а сердце приняло, сердце все принимает. Принять-то приняло, а вместить не смогло.

Три ступеньки: реанимация, больница, поликлиника – и не понять: то ли ты опускаешься вниз, то ли карабкаешься вверх. Но в поликлинике как-то спокойнее, почти как в жизни: сиди и жди, какая дверь откроется, и успевай вовремя захлопнуть дверь свою. Свои двери придумали исключительно для того, чтобы закрывать. Люди – то здесь, то там ждали. Редкие больные поднимались по лестнице, но их движение не было заметно среди этого емкого ожидания. Все сидели в коридоре, и казалось, что сидят они тут издавна – как духи предков, не нашедшие земного успокоения. Рядом со мной села женщина. Напротив сел паренек и погрузился в неведомое. Вдруг звонкий голос соседки, обращенный ко вновь пришедшему: «А я сюда первая».

– Ну, тогда я второй, – нехотя пошутил паренек.

– А вы тоже сюда? – вдруг заметила меня соседка.

В таких местах я ощущаю себя, как в самолете: вдыхаю при посадке и выдыхаю на выходе. А попадают пассажиры: что-то читают (даже, бывает, Достоевского, что вполне уместно в сложившейся ситуации), смеются, едят, и это на высоте десяти километров. Господи, кого только нет! Из сбегавших от меня слов я еле выловил одно, и то не самое длинное, и вполне спокойно выговорил: «Да».

И я увидел ее глаз – синий-синий, второй был явно стек-

лянный. И увидел я улыбку – будто сам недавно родился, и так мне понравилось увиденное, что я улыбнулся. Это потом я увидел ее зубы – они напоминали почерневшие от горного ветра, причудливо изъеденные временем невысокие скалы. Но эта улыбка смывала все изъяны ее лица. Эта улыбка и синь одинокого глаза вновь окунали меня в трепетную бирюзу моих детских рассветов.

– А вы по поводу инвалидности?

– А что у вас болит?

– Да раны сердечные, – скромно сказал я.

– А вы знаете, я тоже, но у меня с головой – я попала в аварию.

И не было в ее словах никакого идиотизма, а было доверие и какая-то искренность, какую я давным-давно не слышал и не видел. Мне не нужно на нее смотреть – я чувствовал, как под обломками машины осталось все лишнее, наносное и выжило самое необходимое, и этого необходимого хватало на жизнь, да и другим перепало самородков высшей категории милосердия. Ведь только искренний живет, и это единственная форма и суть существования. Неискренний – лишь имитирует жизнь, ему кажется, что он живет. Соврал – значит, это не ты – и время твое проживает кто-то другой. Она говорила, и болезненное, тягучее ожидание чуть потеплелось, и виделась уже земля, в черных и белых островках, в горах плескались ласковые ветра, и вот-вот должна была явиться весна. А она все говорила и говорила, и слова ее гладили меня по голове и дождик косой, пролитый солнцем, блуждал в березняке-подростке. А в горах еще не построены турбазы, не проросли отели из «звезд» земных. Из мокрых палаток нехотя выползают скукоженные холодом туристки, одетые в балкарские свитера и горные башмаки.

Плеснув в лицо горсть родниковой, студеной воды, девушки взвизгивали на все голоса и лады все и, как в сказке, оживали. И думалось: «Не из пены морской родилась женщина, а из воды родниковой». Свидетельство тому – не успевшие высохнуть разноцветные капли на их лицах. Цельно и емко пахло хвоей, утренней ранью, звенящей родниковой прохладой, предчувствием полуденной солнечной неги. И верилось в вечность всего природного и естественного.

А сейчас туристки выплывают из теплых эльбрусских отелей, в желтых куртках и красных брюках, и, глядя на эти пурпурные штаны, думаешь почему-то о будущих детях, и

непрерывно своих. Всего-то... А может, все-таки из ребра Адама?

— А я после аварии стала стихи писать, и даже прозу. — И она протянула мне пару исписанных листочков.

— А я тоже пишу, — неожиданно вырвалось у меня, хотя обычно я никому об этом не говорю.

Во-первых — неудобно, как и с какой стати сказать кому-то: «Я писатель». А во-вторых — нецелесообразно. Одни, романтики, будут относиться к тебе лучше, чем того заслуживаешь, другие — завистливые, скажут: «Я тут гнусь в поте лица и спины, а он балуется со словами, да еще и гордится этим». Среди этих разноголосий и знать не будешь, кто ты такой.

Чтобы оправдать хлеб свой, я тружусь целый день, чтобы оправдать жизнь свою — пятнадцать минут за письменным столом.

Правда, есть до самоубийства сытые. Непонятно, как они, выехав из своих убогих, потому что неудобных, замков, на усовершенствованных телегах, могут смеяться среди множества плачущих, как им это удается — непонятно. Воистину живому и живущему это не по силам.

Господи, как хорошо мне в Твоем непокое. Если бы я нашел сейчас портфель с деньгами — я бы умер от горя. Надеюсь, я не настолько разгневал Бога, чтобы он сделал меня богатым. Какой крюк я бы дал, отрываясь от судьбы своей, и сколько плутал бы, чтобы вернуться к исходной сужденной мне.

Заимел червонец, сел на полянке, выпил свои фронтные сто грамм — и нет у меня охранников, и свободен я.

Просто я знаю: нет ничего на свете вкуснее родниковой воды, тюремного хлеба и свободы внутри меня. И сытым не испробовать ни того, ни другого. Творчество рождается при виде сытого человека.

Хотя тюрьма видна из их «крепостей», и до гор ближайших с их «зияющих высот» доплюнуть можно. Попадут в тюрьму они, попадут, но там уже будет совсем другой хлеб — хлеб, испеченный по всем выхолощенным евростандартам. В нем не будет той соли, запекшейся на спинах царских холопов, в нем не будет пота сталинских крестьян, а без этих удобрений хлеб — что вата. Вкус-то не на кончике языка, а на потной спине своей.

Время уходит, унося неповторимый вкус свой. Долетят они дряхленькими на вертолетах своих до ближайшего родника, но это будет уже другое время и совсем другая вода.

Пришло время «рубить капусту» под «чес» ошалевших певцов.

На базаре килограмм капусты стоит пять рублей, нарубив ее и посолив, – ты получишь двадцать пять. Так зачем же собирать камни?

Ясно, что ты выберешь, а выбрав, выберешься ли из выбора своего? Как быстро складываются пособия для самоубийц. Галерника еще могут помиловать: то у царя день рождения, то он одержит, как ему мнится, «победу», а «рубящий капусту» – это до самой смерти, из этой профессии не возвращаются, а вернувшийся вряд ли узнает себя.

Время всегда делилось: на растящих и на охраняющих. И подсчитывающих, и поедающих выращенное.

Растящий хоть округу оглядит, подышит полной грудью, все-таки какая-никакая жизнь.

Время треснуло пополам: на одной стороне – правоохранители и экономисты. А что охранять? Если права нет – нет и прав. А что считать, если никто ничего производить не собирается? На второй половине – растящие, они же растаскивающие.

И вот первая половина готова всех растящих посадить (после сбора урожая, конечно), а вторая половина – готова вырастить и срочно съесть.

И все в нетерпении, все лихорадочно ожидают: когда же произойдет это «братание» охраняющих и растящих.

И тут в разных концах города раздались автоматные очереди, и мой знакомый подумал: «Наверное, декабристы вышли на площадь Абиссинии?» Он и сейчас так думает. Но большинство иного мнения – они считают, что на площадь вышли шамхалиты. О них и до того говорили, и даже по телевизору показывали. Но никто не знал, кто они такие, они никому ничего не рассказывали, даже милиционерам, которые собственноручно пытались об этом узнать. Они стали воплощенной загадкой – о них знали все, о них не знал никто. Благостные времена пошли – все, что видишь, записывай на бумагу и получай скопище загадок и не надо ждать, пока народ удосужится заняться этим делом.

Сейчас понятно: они вышли на площадь из-за долларов, которые почему-то не оставили дома, а все до цента прихватили с собой. Говорят, они завербовали машиниста поезда – хотели доехать до Канар, не прямиком туда, а слезть где-нибудь неподалеку. Они до смерти напугали кассира, и он не продал никому ни единого билета. Поезд ждал их, да так и не дож-

дался. Они были еще дальше от народа, чем их предшественники.

И мой знакомый сказал: «Ладно, одни шамхалиты ушли, другие придут, но как быть с детьми, видевшими трупы, валяющиеся на дорогах? Даже если бы это были убитые собаки, то детей уж не вернуть было, а здесь люди...»

Нам ханá, они уничтожили элиту – настоящую элиту. В кои века на улице вышли люди, чтобы отстоять свое, да и наше достоинство.

Когда началась война в Чембулакии, я понял: нам всем кранты: другие страны прикупают солдат, чтобы уцелеть, а мы уничтожаем народ-воин, да еще и солдат своих. Если мы уничтожаем элиту свою и воинство, что с нами будет?

Развалилась страна или нет?

Если отец убил сына, развалилась ли семья?

Если развалилась семья, уцелела ли страна?

А китайцам жить где-то надо? Не плыть же им в лодках на Филиппины? Даже если мимоходом захватят Индонезию – все равно им всем не разместиться, зачем куда-то плыть – шагнул, и ты на одной шестой части земли. Да еще индусы подтянутся, им не так далеко плыть, всего-то – три моря. Афанасий Никитин – злейший враг страны, проложил путь к индийским феодалам, а уж индийским капиталистам развернуться и двинуться в обратном направлении – ничего и не стоит. Вот такую безрадостную картину нарисовал мой знакомый.

И тут меня взбесило: «Ты кому, говорю, горе кличешь? Нам, родившимся прямо под березами, минуя общепринятые пути рождения, нам – у которых все: снег, лес, мыло и даже небо?» Ну не наберется же наглости американец, хоть он на Аляске родился или в каком-нибудь зачуханном Вермонте, не скажет же: «Американский лес, мыло, небо». А березы наши так шумят, как никакие в мире. Канадские – те вообще тихушницы, бывало, целый день среди них посидишь – ни одна так и не пискнет.

Иду платить налоги: за свет – в сберкассу, за воду – в водоканал, за газ – на другой конец города, и везде очереди.

Люди не деньги пришли просить, они хотят их отдать, а их не берут.

– Зачем очередь? – спрашиваешь.

– Да вот деньги хотим отдать, а их не берут.

Ведь готовые деньги – собери, и украсть возможность появится. Не думай обо мне, подумай о себе.

Да на каждом углу должны стоять автоматы экстренные, сколоченные из фанеры будки для сбора денег у желающих. Если я умру, то найдут меня на какой-нибудь фешенебельной почте, с червонцем в руках, который я так и не успел заплатить.

Дева Мария без усталости, без сна и отдыха приглядывает за нашей страной, не веря охранникам земным, она устала смотреть в одну точку, и нет у Нее никакой возможности окинуть очами усталыми земли иные.

В таких болезненных местах лезут в голову болезненные мысли. А по лестнице неохотно поднимались больные, да и то понятно – не на свадьбу идут. Раньше в этом доме нквдешники забивали насмерть посетителей своих – сейчас в этом доме лечат их потомков. И дух смерти впитался в эти вечные, дубовые перила, притаился в щербатинах мраморных ступеней. Дом тот же, время другое – время, принесшее более утонченные формы смерти.

Старика я увидел сразу, он мучительно преодолевал ступеньку за ступенькой, опираясь на два донельзя кривых и сучковатых дырна, выломаны в соседнем парке, благо рядом, но как у него сил хватило справиться с этими дровинами, не иначе как с Божьей помощью. Но не топор же с пилой таскать ему с собой, да и дороги они нынче – без ссуды не купишь. Но у наших инвалидов собственная статья, и не чета они инвалидам швейцарским. Уроки лесоповала пригодились и в миру.

Зелено-пегие брови колючками вознеслись ко лбу, будто он спал на них, такого же цвета борода, всклокоченная во все стороны света, скрученная во все стороны тьмы, теплое трико пузырями спадает на дырявые башмаки, и глаза, как два маленьких уголька среди серо-белого весеннего снега, светили с каких-то немислимых высот и из всех времен вместе взятых. Его взгляд только присутствовал на земле, ни на что не влиял и влиять не хотел, он как бы говорил: я вынужден жить – вот и живу.

Поравнявшись с нами, он спросил: «А в каком кабинете берут кровь с вены? С пальца я сдал на первом, да впопыхах забыл спросить».

– Вам на четвертый этаж, дедушка. – сказала соседка.

Мне казалось, что старик дымился. Слава Богу, полпути он уже одолел. И при чем тут власти? Ну почему все это нельзя проделать в одном кабинете или на худой конец на одном

этаже? Ведь не родились же мы только для того, чтобы мучить друг друга?

Старик родился, как и все мы, не в свое время. Появись он на свет пораньше, Пиросмани обязательно его нарисовал бы, назвав картину «Предсказание». Старик и выглядел как будущее или воплощенное предсказание – зримое наше проклятие. И это было так реально – как пощупать руку свою.

И глядя на старика, вспомнилась картина грузинского художника: белое, снежное поле, одно-единственное черное дерево и на нем маленький черный человек, вдохновенно рубящий сук, на котором сам же и сидит. Совсем, как жизнь наша, совсем, как наша судьба. Мы только тем и заняты, что рубим сук, на котором сидим, а в перерывах роем ямы, чтобы попасть в них, слетая с поверженного сука.

Обо всех я, наверное, погорячился, но это самая правдивая моя биография.

«Дворник» Пиросмани был армянином и никак не грузином. Грузины как-то умеют растворять свои беды в вине и песнях. В глазах армянина – боль давняя, неизбывная.

И говоря «грузин», я не вижу перед собой гор Сванетии или Тушетии – я просто купаюсь в теплых травах Алазани.

Армянину, куда ни посмотри – везде камни, и врагов, что камней, но он горец, и этим многое сказано.

Я тюрок, но как бы я хотел, чтобы турки отдали бы Арарат армянам – вот радости было бы у турков.

И волны той радости многих и многих вынесли бы на путь истинный.

И в этом мельтешении воспоминаний почему-то всплыла картина грузинского художника, и называлась она – «Подшипник». Городок, построенный, как дагестанские аулы, – ярусно, и каждый ярус окольцован большой дорогой. Кто-то катит по дороге той на велосипеде, кто-то на самокате, дети катают просто колеса – это те, раздобывшие их счастливики – они собственники, самые маленькие оседлали прутики, и самые обездоленные, у кого ничего нет, катают друг друга на спине. Вот люди, собравшиеся вокруг огромной бараньей игровой кости, в руках у них маленькие косточки – альчики, и они вдохновенно играют с ними. И названа картина удивительно точно – «Подшипник». Кольцевые дороги, как основа подшипника, а люди как шарики. И все по кругу, все в замкнутом, все грустно, хоть и весело. И захотелось мне разорвать этот круг, захотелось, чтобы кто-то сделал шаг за пределы

этого кольца. И назвал я картину – «Игра в альчики». У нескольких писателей я читал рассказы с таким названием. Есть в этих словах звонкая Надежда и стойкая Вера в решение всех проблем, которые, услышав эти слова, рушатся, позванивая уже не восстановимыми обломками. Игра в альчики... Есть в этих звуках выход из закольцованности дорог и замкнутости бытия, веселые и жизнерадостные звуки, выводящие на свежие просторы. И мы играли в альчики в послевоенной Азии: взрослые на деньги, малыши – на яблоки в колхозном саду. Играли в альчики и фронтовики, ошеломленные наступившим миром, и, как и мы, маленькие, не знавшими, что им делать в этом наступившем дне.

Меня допускали к игре потому, что я был самым маленьким, постоянно проигрывал и бегал за яблоками. Сторожа не могли меня обнаружить потому, что я был маленький. Чтобы достичь сада, надо было преодолеть канал, он летом мелел, но и обмелевший был мне по плечи. На меня мокрого, садилась бархатная азиатская пыль, и к вечеру я напоминал статую из глины.

А какие громадные были яблоки, за пазуху помещалось только два плода – третий, разрывая рубаху, падал наземь, увлекая остальные. И я бежал платить долги, поддерживая яблоки и спадающие трусики. Сторожа, конечно же, меня видели, но они знали, что я сын фронтовика и ссыльного в одном лице. Они знали, что отец мой проливал свою кровь в буквальном смысле, проливал кровь, которая предназначалась мне и которая дала возможность им, в этом пекле, блаженствовать в тени яблоневого. Они знали, что должны мне, и платили долг свой, закрыв глаза. Они чувствовали, что добро чужое не оплатить добром своим. Они догадывались – долг неоплатен. И только благодаря тому, что долг неоплатен, и рождается ощущение неодинокости, неразрывной связи с другими. Они знали: какой уж «богатырь» может родиться от человека, пролившего свою кровь, – вот и укрепляли меня, чем могли и чем обладали. Они догадывались, что мне нужно быть крепким, чтобы добраться до родины предков моих.

Качу арбуз, величиной с себя, намокший в предрассветной росе, и пахнет он росой и дивными, чистыми далями, в которых вместе с восходом солнца я непременно побываю. Спасибо людям, которые ничего не были мне должны, но вовремя отдали долг. Я тоже стараюсь вернуть долг людям, у которых ничего не занимал.

И если я посчитаю, что долг мой выплачен, то оборву нить, связующую меня с другими, и значит, я умру, а я хочу жить.

Я хочу, чтобы соседом моим был балкарец, если не будет его – как я узнаю, кто я такой?

Я хочу, чтобы соседом моим был кабардинец, если не будет его – как достигну цели своей?

Я хочу, чтобы соседом моим был русский, если не будет его, то как мне без цветов на подоконнике, цветов на могиле, и любопытно все же: кто ж там с горочки спустился?

Я хочу, чтобы соседом моим был еврей, если не будет его, то как я узнаю о тяготах мира нашего, а не зная их, как я возрадуюсь благам земным?

Я хочу, чтобы соседом моим был белорус, если не будет его, как я умилюсь тому, что окружает меня?

Я хочу, чтобы соседом моим был грузин, если не будет его, как я сяду за большой стол, и что я спою в радостный день свой?

Я хочу, чтобы соседом моим был вайнах, если не будет его, кто поможет отстоять дом мой?

Я хочу, чтобы соседом моим был осетин, если не будет его, как нам жить: и христианам, и мусульманам – в мире едином?

Я хочу, чтобы соседом моим был армянин, если не будет его, кто оплатит меня в день ухода моего?

Время не оставило и крохотной доли своей нам на обиды.

Земля сплошняком укрылась розами, полнясь однообразием обожженной Азии. Как же без веточки вербной ощутить рождение ребенка и нежный выдох весны утомленной? Как же без горечи полей полынных вникнуть в краюшек бескрайнего? Как без торжествующей мокрой сирени услышать плачь уходящих домов и времени?

Моя соседка, уходя, сказала: вы прочитайте мою прозу и скажите потом, художественна она или нет?

И я стал читать ее прозу.

Москва. Кремль.
Президенту РФ
ПУТИНУ В. В.

Жалоба

Я, Костикова Елена Викторовна, 1960 г.р., в 1998 г. работала на кондитерской фабрике мастером. Жила по улице Баумана, 210, кв. 56 со своим сыном Андреем 1985 г.р. (с му-

жем развелась в 1993 г.). Однажды после работы случилось со мной несчастье, и я почти на год (с 9 апреля по 8 декабря 1998 года) попала в реанимацию (перелом черепа). Когда вышла из больницы, получила вторую группу и дома жила одна, так как родители уже умерли, а ребенка забрал его отец (Александр Костиков). Родственников в городе никого у меня нет, хотя здесь и родилась. Дома я познакомилась с Толиком Нарушевым, и у нас стала гражданская семья (гражданский брак).

Год жили у меня, но деньги были, в основном, моя пенсия. Что-то с работой у Толика ничего не было, хотя до меня у него был хороший бизнес.

Потом он уговорил меня продать отцовский гараж, хотя до этой продажи просил занять где-нибудь 10 тысяч денег на две недели. У меня нет таких знакомых и слава Богу, иначе я получилась бы обманницей, если бы он не вернул чужие деньги через две недели.

Я ему верила, муж же, и гараж продала за 20 тысяч, деньги – Толику. Он, видимо, вкладывал их в бизнес, но ничего у него не пошло, потому что так и жили на мою пенсию, и денег всегда у нас не было.

Потом Толик уговорил меня продать квартиру. Я знала, что ребенок мой у свекрови в селе, а мне его отец не отдавал, говорил, что я недееспособная (что это такое я так и не знаю). Я и согласилась продать квартиру в 2000 году, думала – человек-то знает, что такое квартира, и я ему верила. Когда выписалась с адреса, в ЖЭКе спросили: «Куда?». Он дал свой адрес, хотя эта квартира его мамы, и он там прописан. Я не знала совсем, что если в квартире прописан несовершеннолетний ребенок – продаже квартира не подлежит (это о моей квартире). Оформлением продажи занималась О. Е. Спицина, которая и купила у меня двухкомнатную квартиру. Деньги отдавала у себя на работе при начальнице, 3 тыс. долларов, мне и Толику (это когда все уже было оформлено). Куда вписала его и мой паспорт (думаю у нее еще эта расписка есть, а наша у Толика).

И вот пошло: Толик снимает квартиру, где я жила почти всегда одна. Он редко бывал, уезжал, наверное, туда-сюда. Месяц проходит, надо платить за квартиру, а его нет. И в КПЗ я где-то около месяца жила по Толикиному договору. Где я только не ночевала (даже на стадионе около месяца) и в больницу попала, где сразу поправилась (там же кормят).

После больницы Толик увез меня в соседний городок, хотел в бывшем РСУ кур поставить (цыплят), договорился с директором, поехал за кормом и исчез. Я там ждала его неделю, хорошо, что люди меня кормили. Потом директор дал мне денег на дорогу, чтобы я уехала, раз Толика все нет. Я поехала – и куда? До последней больницы я немного подрабатывала. А теперь все: ни жить негде, ни кушать нечего. Десять месяцев назад я целый год жила в магазине (весь 2001 г.). В начале 2002 г. магазин продали. Я жила в нем потому, что сын хозяина Абушиков Астемир с Толиком занимались бизнесом на мои деньги: то отправляли гравий, то лес – в общем, всего я не знаю. Знаю, что денег у них не хватило (на что?), и они у одного человека – Мухи взяли машину «Волгу» на продажу. Продали, но денег Мухе не отдали до сих пор. Он ездит к ним домой и к Толику, еще и в магазин при мне приезжал и ругался, и просил, но ничего не получил. «Если подашь в суд – нас посадят, а ты без ничего будешь. Мы отдадим тебе деньги позже». Вот он и не подал. Но у него хоть есть дом, другая машина. А у меня ничего нет. Я себе могу заработать только стардом и психушку. Это меня ожидает.

Сегодня я встретила Любу (Толик дружит с ее сыном Виталиком), и она сказала, что Толику брат старший нашел богатую невесту, женится, а мне потом купят квартиру. Толику Люба заняла деньги, дала адрес в Москве и он сейчас там, старается заработать деньги на мою квартиру (это когда будет, через 5–10 лет?). Но меня очень удивляет вот что: год назад мой бывший муж подал в суд на меня за квартиру, потому что ребенок был у меня прописан, а сам Саша снимает квартиру, но где он прописан, я не знаю. Получается, я и мой ребенок – бомжи, хоть он и у бабушки. И этот суд закончился миром, обещанием Толика купить гараж и квартиру (с его слов) через три месяца, в июне 2001 года. Уже столько времени прошло, ничего так и нет. Жалко, что у меня нет цианистого калия: проблемы бы не было. Если можете мне помочь, прошу Вас, Владимир Владимирович, помогите получить свою квартиру с телефоном (который у меня был всю жизнь, еще родительский: папа был геологом, а мама – врачом), с гаражом (мой был самый большой и дорогой в районе). На счет этих продаж я ничего не оформила у нотариуса, потому что Толику верила. И куда он отвез всю мою обстановку (еще папину большую библиотеку, пианино, ковры, паласы) – я этого не знаю. Сейчас у меня нет одежды, вещей,

ничего нет. Хоть документы свои я кое-как забрала, они были у Толика, а его сейчас нет. Последний раз я его видела 3 октября.

Не знаю, что мне делать. Я уже была в Верховном суде, милиции, прокуратуре. И все это бесполезно. Многие говорят, что зря и Вам пишу. Если можно, помогите мне. Только Толика сажать не надо, а то так ничего и не будет.

2002 г. 21 октября.

С уважением, Костикова.

Вот такая вот проза...

А с Толиком мать его и моя знакомая встретились-таки – в морге. Толик не болел, его никто не убивал – живи себе, а он взял да умер. То ли московский климат ему не подошел, то ли чужие деньги в кровь не пошли – иди, гадай.

А что до прозы моей знакомой – ничего более художественного я не читал. Жалоба... Поставь многоточие – какая горькая ширь откроется перед тобою. Жалоба – это зашифрованная молитва, обращенная к людям. Искусство должно быть узнаваемо, только узнавание дает повод, толчок, для отлаживания своей внутренней сути. Раньше я думал, что художественность – это отторжение лишнего и приумножение недостающего в этом мире. А прочитав ее прекрасную и горестную прозу, как поэзию страдания, я понял: художественность – это, когда чья-то печаль, поселяясь в тебе, становится болью твоей.

Господи, если бы я был чиновником, то каждый день читал бы шедевры. Я видел ее из окна автобуса – она постригала кусты в парке. Она, которой мы все порушили, из обломков своих ладила нам красоту. Завтра же я приеду к ней, и мы сообща найдем адвоката. Я никогда не был на новоселье, просто я знаю, что событие это радостное и мне не хочется лишать себя этой радости.

Не сделанное на земле, – не услышится на небе.

Как же я предстану перед Богом, не бывший ни разу на новоселье? Не испытай радости чужой, как я огорчусь собственному уходу?

И я не хочу никуда уходить из моего города-подшипника, где я вместе со всеми играю в прекрасную игру – альчики, и мне еще не надоела эта веселая и грустная игра.

А она проснулась на стадионе. Ее трясло от холода, мутило от голода.

В лесочке – рядышком, она нашла дикую грушу, надкусила и почувствовала вязкий, сжимающий горло вкус одиночества: одиноким был стадион, каждое дерево в лесу, каждый дом у дороги... и ничего, и никого родного. Но надо идти, идти, улыбаясь, на работу, а после нее идти искать себе пристанище среди бесконечного одиночества. И она шла, улыбаясь.

Одинокие, грустные деревья, чтоб вы делали, чем жили бы, как выжили бы, если бы с вами бок о бок не шел этот улыбчивый человек?..

ВСЛЕД ЗА АВГУСТОМ

Август... Падают листья... Их сметают спозаранок старушки. Падают листья, и истосковавшиеся друг по другу дети в душевной сумятице ждут сентября.

А вечером горят костры и падают звезды.

Одни, как печальный дым осеннего костра, безропотно и тихо уходят, другие, под звонкую, звучную капель – приходят. Бабье лето... Так тихо, что слышно усталую поступь уходящего года... и дальний, приглушенный, но въяве слышимый топот года приходящего.

Излет августа – пограничье – встреча Нового и Старого года.

Кавказ спал: спали в белизне скалы, спал изуродованный и чужой католицизм в образе громадных и донельзя пошлых замков, отторгнувших на веки вечные тепло человеческое. Замки, построенные безнадежно больными людьми.

Все дремало, убаюканное светлым безучастьем августа. И в этой сонной слитности все было само по себе – каждое отделено от каждого непреклонной ржавчиной опавших листьев.

А человек во дворе громадного санатория сметал листья. Никого... А человек машет метлой в нежелающем жить, едва видимом сонном рассвете. Старое пальто в слабо различимую клеточку, громадные тупоносые ботинки и замасленная фуражка, из козырька которой желтел кусок обглоданного временем картона. И из потрепанного картона – удивленные глаза, глаза пожилого человека, собравшегося родиться.

Август – это люди куда-то уходят, а человек вот-вот должен родиться.

И я воочию увидел, как в мучениях рождается старый человек, как из застоялого водочного марева, среди безлюдья, безвременья августа, влажной теплинкой полнятся глаза вновь рождаемого, давно живущего человека.

Я узнал его, поздоровался и сказал: «Саня, а ты улучшился». Что мог ответить этот корчащийся в боли малознакомый человек, он просто невпопад кивал головой.

Я вспомнил его, да его весь город знал. Он играл в футбол, и мы толпой валили посмотреть его игру.

Футбол – игра простая: отдай все, что имеешь и то, что умеешь, а по взмокшей майке и трусам понятно, сколько отдал. И отдал ли? Зачем мы ходили на футбол? Ведь не затем, чтобы увидеть, как мяч влетает в ворота и затихает в сетке. И не для того шли, чтобы забыться и отвлечься – мы шли туда в поисках выхода, хоть и не осознавали этого.

Чье-то неожиданное движение, непредсказуемый ход создавали иллюзорный отсвет найденного выхода.

Любое зрелище, как и сама жизнь, – поиск выхода. А к выходу сухоньким и не дойдешь – только в поте лица и плоти всей, и души, и духа своего – всего без остатка. Это и есть простая игра – футбол.

Мы баловали его, как баловала его и жизнь сама. А он шел по главной улице среди цветущих роз, чистенько одетый и сквозь промасленную благополучием глазную пелену ничего и никого не видел.

Но это было вчера, в многолюдном июле, а сегодня – обезлюдевший август.

Помахивая метлой, он продолжал играть в футбол, – то есть искать выход.

И у него это получалось – свет впереди смотрел в его полнящиеся теплом влажные глаза.

Я иду домой... Я лежу в больнице... Больница новая, еще слегка прилипают тапочки к полу. Больница выложена белым мрамором – изнутри и снаружи. Белеют в ожидании больных раковины и ванны. Нежилым отблеском мелькают белые халаты врачей и медсестер.

Больных – никого, я – один. Ко мне никто не приходит, да и я никого не жду. Никого... Лишь седой дворник сметает желтые листья, и с почерневшего дерева смотрит на меня своим забытовевающим взглядом старый ворон.

Долгий, без конца и края день... По дальним опустелым улицам бредет усталый август... и останавливается на отдых в больнице. Больше всего на свете август любит больницы.

Я только что родился в этой белизне. Родился без крика и плача. Никого рядом не было, хоть кричи, хоть плачь...

И вот вслед за августом, неслышно, один ухожу по золотой дорожке, посланной из вчера еще зеленых листьев, ухожу к давным-давно знакомой сини.

И ничего не происходило, и ничего не произойдет.

Было лишь то, что родился. Будет лишь то, что уйду. Об этом лучше всех знает усталый мудрый август.

Рождается человек на изголодавшемся пустыре, и даже тьма высоток не может заслонить безысходности того пустыря, в ненасытности хлебающего августовскую грусть. Не манны желаю – соли, кто б сыпанул от щедрот своих с неба? Кто бы развеял пряный дух августовской безнадежности?

САЛЮТ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Куда-то подевались светлячки...

Не разглядеть...

И не узнать себя...

Она вошла в маршрутку и села на боковое сиденье – других мест не было. Входили мы, она появилась неслышно, незаметно. Вся в веснушках, птичий носик. Очки в старомодной округлой оправе – одни косточки, обозначающие хоть какое-то наличие плоти. Она спокойненько разместилась на трети сиденья. И к ней подсела крупная женщина – и им не было тесно. И непонятно было: то ли малое льнет к большому, то ли большое растворяется в малом. Потом рядом с ней поместились две голопузые хохотушки – и им не было тесно.

А сквозь будничные веснушки и прозрачные косточки лился теплый, недосыгаемый, праздничный свет.

И подумалось: прикоснись вот сейчас к ее руке – и свет погаснет. И светом этим нельзя обладать, но помнить о нем необходимо, необходимо, чтобы жить на что-то и выжить. И жизнь-то держится не на видимой женщине, а на свете незримом, исходящем от нее. И я почувствовал и влюбился в интеллект – женский интеллект. Нет, в самом слове интеллект

уже ощущаются границы. Нет, интеллект и любовь земная были очень важными, но все-таки частями этого светлого безграничья.

В детстве я сажал светлячков в спичечный коробок, хотелось дома вдосталь налюбоваться этим чудом, а его фонарик тут же гас, – светлячок хотел светить всем – маленький волшебник и большой философ. И только на исходе лет я понял: нельзя завладеть светом другого – им можно только умиляться и умиление то наполнит тебя светом собственным. И еще подумалось почему-то: «Последним посланником Божьим, вероятно, будет пришествие Абсолютного Вкуса. И не будет ни слова, ни проповеди. Его молчаливое присутствие будет и пониманием, и достаточностью для человека». И мне очень хотелось ехать и ехать.

Она остановила маршрутку у аллергоцентра, тихо прикрыла дверь и пошла среди зеленых сосен, мимо розовой «лермонтовской» беседки, где вьюе мелькнули «пушкинские» женщины в ажурных белых платьях. Она шла среди розового и зеленого к светло-желтому, будто новорожденный младенец, дому.

Лесные сосны растут, поддерживая и борясь друг с другом за ширь земную и высь небесную. Они лучше других ощущают бесценность свободы.

Но они как бы не здесь, они везде – и им нет никакого дела до тебя.

Больничные сосны, как бы их высоко не возносило, остаются на земле – наши боли и наши страдания не дают им уйти. Она шла рядом с больничными, печальными соснами – она болела аллергией. Она могла болеть только аллергией и ничем иным, и я понимал ее. Других болезней у нее и быть не могло – они просто не находили себе места среди светлого бесплотья.

А по тротуару шел молодой, очень важный паренек и бережно нес на вешалке свой долгожданный сладкий крест – новенькую милицейскую форму с двумя звездочками на погонах. А до войны день ходу, а ей до меня шаг. Я ехал в поселок Цементный завод, домой, на улицу Трубную. Хоть там труб отродясь не было, но место как-то крепко увязывалось со словом *металлолом*, по развалу своему и запустению, что ли?

И сквозь оконное мельтешение уносящихся мимо кустарников мне припомнилась совсем другая история, медленная и очень протяженная по времени...

Умирала маленькая девочка... мама в слезах... Видя страдание матери, маленькое истощенное личико улыбнулось: «Мамочка, не плачь, когда я умру, ты выйди в поле, посмотри на одуванчики... и вспомни меня...» Я сидел на порожке со старой собакой своей, а ветер из разворошенной горы нес пепельный песок – сырье цементное – нес и посыпал наши домишки, когда-то построенные для рабочих бывшего в бог весть какие времена завода. Посыпал поле и зеленые листья унылых дерев. И казалось: и дома, и деревья, и нас зацементировали. Чтобы как-то вырвать себя из удушливого безнадежья, я взглянул на небо, но и оно наполнилось обездоьем, как и мы, сидящие под ним.

А где-то давным-давно, далеко-далеко, по белому одуванчиковому полю шла девочка, шла и улыбалась, и та давняя чья-то улыбка оживляла большую сегодняшнюю округу.

Затеplилось и потянуло... И верилось, что на пепельном этом поле когда-нибудь прогремит белый салют жизнелюбивых одуванчиков.

И я, уверовав, гладил утомленный, горячечный лоб доброй дворняги моей, а она смотрела на меня всепонимающими глазами... И верила в то же самое, во что уверовал я. Жизнь-то у нас одна, общая для всех двуногих и четвероногих.

ДЕНЬ, ИЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО УЙТИ

Четырехлетний Эркин гуляет в одиночку.

– Ты почему один, Эркин?

– Я не один, я с шапкой.

Из Азии мы вернулись в мае, потому что все ликовали. А после мая пришел март, такой бездомный, как и большинство вернувшихся, и долгий, как приход в раковую больницу, он и сам был раковым больным: невытым, неряшливым, ничего не хотевшим, ничего не желающим. Тоска любит прогуляться по осени, иногда навещает весну, но родилась и живет она в марте. В марте и умирать не жалко, наверное, он для того и существует – это и оправдывает его существование. Люди бродили по марту во фронтовых гимнастерках и колхозных фуфайках и сами были зримым мартом. Они пытались в этом хаосе, собранном из грязи и тумана, освещенном блеклым сол-

нцем, найти когда-то утерянное: знакомую тропинку, бугорок в конце огорода, камень у дороги.

Шло долгое, близорукое узнавание округи – собирание себя в этом заблудившемся марте. Потерявшие искали свое в потерянном.

Господи, как тягостно жить на чужой земле, в чужом доме, да еще и в марте, и есть с утра до вечера кукурузную мамалыгу, дерущую горло, как и сам март. Нам еще повезло – мы жили хоть в чужом, но доме. У большинства были хижины, сплетенные из прутьев, обмазанные глиной и крытые дырявой толью. И в «домах» этих после дождя текли ручьи.

Нам все же крепко повезло с домом. Все было заражено мартом и даже горы, с виду такие крепкие, стояли понуро, будто в преддверии болезни. Единственное существо, которое было вне марта и как выход из марта – теленок наш, запертый в сарае. И сарай наш был под стать марту, сколоченный из досок кривых вперемежку с бревнами. Если бы теленок умел плевать, он бы плюнул на март, но это было доброе и интеллигентное существо, и поэтому плюющим его никто не видел. Он бегал по огороду, брыкался, как жеребенок, а наигравшись, впадал в задумчивость, и мне казалось: он смотрит в какие-то светлые и чистые дали, которых мне никогда не достичь. Меня тоже тянуло: побегать, попрыгать, но, глядя на этих озабоченных людей, я понимал, что не надо этого делать – не к месту это, да и не ко времени.

Отец привел с собой троих мужчин, а они прихватили с собой веревку и большой нож. Наверное, отец хотел накормить нас, чтобы мы с сестренкой Мадиной окрепли, выросли. Но я не хотел есть теленка, и сестра моя есть его ни за что не будет. Мы же кормили его из соски, гладили по бархатному лбу, смотрели в глаза ему, сидели с ним на соломе в закутке сарая, а сейчас должны съесть его. В тот момент я знал, как много мы потеряем, съев любимое, и знал, что утерянное мы никогда не найдем – станем несчастными.

Я стоял у дверей сарая, сколоченного из всякого хлама, скрепленного громадными щелями, и одет я, наверное, был под стать сараю и по щекам моим лило и лило.

Отец что-то сказал пришедшим, и они ушли.

Мой папа самый умный – он все понял. Он самый-самый добрый – захлебывалась теплынь внутри меня. И от восторга и ликования я долго не мог шелохнуться. Как я его любил в эту минуту! И что-то общее и очень-очень важное было: и

у теленка, и у отца, и у враз потеплевшего марта. Наверное, родное, то что было в отце, жило в теленке и передалось разочарованному марту. И эта общность рождала слова: родственники, родное, Родина. И земля была непоколебима, и жизнь желанна.

Первый класс, как шаг в жизнь другую. Урок чистописания. Где же еще писать чисто, как не в этом безлюдье? Не в толчее же человеческой?

Урок чистописания. Скрип перьев. Тишина. Учительница у осеннего окна – святая Дева Мария, в первые мгновения без Христа. Утомленные от долгого ожидания людей дома. Простуженные деревья, покашливая, бредут вместе с промокшей дорогой в поисках зимы.

Первые дни. Первые уроки на впервые увиденной Родине моей. У окна сидит Муса Боллуев, лицо его освещает солнце – он вылитая копия отца своего Ахмата. Очень серьезен и кажется, что вместо отца вспоминает годы свои, проведенные в окопах, и отшелестевшую в тополях придорожных и иставявшую в сини небесной войну вчерашнюю. Алеша Жарашуев написал слово «арбуз» с большой буквой на конце. Учительница наша так смеялась и мы вместе с ней, а зря – парень был прав, арбуз и надо писать с большой буквой на конце, ведь он круглый. А если вспомнить о бесконечье оттенков его вкуса, то он и должен напомнить собой планету. Нас тоже не всегда верно учили. Отец мой говорил: если бы я каждый день ел арбузы – я бы никогда не умер. Сколько поэзии затаилось в этих незамысловатых словах. Я только сейчас узнал, с каким большим поэтом я жил в одном доме.

Впервые Бога я почувствовал годика в четыре, как почувствовал огонь, случайно коснувшись раскаленной печки.

Какая-то бабушка угостила меня огурцом; надкусив его, я онемел: как, откуда в этом пекле такая прохлада? И как эту жидкость упрятали в прочную зеленую обертку, и она не утекает? И каждый раз вкус нового фрукта или овоща все во мне переворачивал, и я чувствовал Бога. А когда попробовал арбуз – я уверовал. Пробуя каждый раз что-то новое, я ощущал иную грань Бога. И пахли эти осколки запахов и вкусов чем-то очень значимым, емким и цельным.

На беду моей тетушки Кани и на радость мою у нее плохо было с произношением. А чтобы избавиться от этого недуга, был один рецепт – читать вслух, что она и делала каждую свободную минуту. Она читала книжки для взрослых, как я

сейчас вспоминаю, от Свифта до Шекспира, она читала, а я слушал, а услышав, так поразился, как ничему другому на свете. Оказывается, слово пахнет: и огурцом, и виноградом, и арбузом – мало того, оно может все это вместить в себя. Сидя в маленькой саманной комнатенке, я одновременно бегал с индейцами в прериях Америки, это ж уму непостижимо – слово, маленькое слово, может вместить в себя и время, и пространство. Оказывается, в слово можно вместить все, что увидишь и о чем подумаешь. Это же здорово! Собрал все в слово и спрятал внутри себя – и никто-никто на свете об этом не узнает. Так мне явился компьютер задолго до его изобретения, в те еще времена, когда жил загадочный Сталин.

В школе я слушал слова о Парижской коммуне, о царях и коммунистах, я не продирался к смыслу, а внюхивался в слова, если пахли они: огурцом, дыней или арбузом – значит, правда, если нет, то и в голову не брал. Были слова совсем без запаха, а некоторые пахли, но очень плохо.

И праздник наступил, когда в доме появился радиоприемник, расшитый спереди узорным шелком и с таинственным зеленым глазком.

Взрослые, сгрудившись вокруг него, с упоением слушали песни, едва они уходили на кухню, я переходил на другой канал и почти бездыханный вслушивался: в вести с полей или новости – неважно, лишь бы музыка не мешала ощущать мне таинственный запах самого слова. А когда еще отсутствовали слова, я чувствовал шаткость человеческую и собственную неустойчивость. Вот я, маленький человек, стою в поле, а у поля того нет ни начала ни конца, и я понимаю, что дойди я хоть до другого края, опыт все равно будет похож на свое начало – и ходьба моя никакого отношения к нему иметь не будет. Опыт – это не то, что обретено, а то, что ниспослано.

И только надкусив огурец я почувствовал опору – и я стоял, и стоял крепко. И в тот же миг я утерять интерес к событиям, а значит, отказался от всякого «опыта». Вот идет человек на работу – и никакого отношения к сути огурца он не имеет, и опыт не в его движении, а во вкусе самого огурца. И стал я жить в преддверии встречи с очередным чудом – опытом, кем-то с большой любовью уже подготовленным для меня.

Кайсын осторожно ступил на башильскую землю и неспешно прошелся по прошлогодней хвое. Так, наверное, проходят на склоне лет с чудом уцелевшей собственной колыбелью. За ним из автобуса хлынули его друзья-литераторы из Москвы.

Я поздоровался с ним, и он ни с того и ни с сего громко сказал: вот это мой племянник, и он лучше всех знает мои стихи. И это было неправдой, приехавшие вместе с ним гораздо лучше разбирались в его поэзии. Кайсын всех балкарцев звал *племянниками*, и возраст тут не имел никакого значения. «Племянник» – он образовывал от слова «племя», правда, ни с кем не делился этим своим секретом. Он, по сути, был человеком, расширяющим границы родства – впрочем, как и любой другой большой поэт. Хотя поэзия – это реально существующая субстанция, и поэт – это тот, кто отщипнул кусочек от этой реальности. Поэтов нет и никогда не было, есть писатели, и весь вопрос в расстоянии, в дистанции меж ними и поэзией. И Кайсын щедро отламывал от глыбы поэзии, находясь рядом с ней.

Возможно, главная задача поэзии – увеличение количества родственных душ на земле, людей, различных цветом кожи, но единых в братстве слова. Для того и Слово ниспослано, чтобы уцелеть в этом тяжком испытании, зовущимся жизнью, а в кругу родных это сделать легче, нежели среди чужих и чуждых, и чем шире круг, тем легче испытание.

Кайсын сознательно преувеличил мое знание поэзии, и мне так нужна была эта неправда – именно сегодня, именно сейчас. На то он и племянник, чтобы чувствовать, что другому племяннику худо.

В этот день я успел переругаться со всем турбазовским начальством, хоть их и было всего двое: директор и его заместитель, но начальства всегда больше, чем того хотелось бы.

Как он почувствовал, что мне необходимы его слова? Так чувствует охотник, идущий на тура. Так рыбак чувствует именно ту необходимую заводь среди бурлины речной. И рыба лучше ловится не у того, кто умеет, а у того, кто ощущает.

С Кайсыном я родился в один месяц. Наши предки из одного ущелья – из одного села. В Киргизии мы жили рядышком – на родине Айтматова. Большинство балкарских писателей жило или родилось во Фрунзе и прилегающих к нему селах.

«В первый раз в первый класс» я пошел уже в Нижнем Чегеме. И самую великую книгу – «Букварь» – я прочитал здесь. Здесь – первый настоящий снег и дорога, покрытая льдом, и дети, длинными кнутами гоняющие по льду тому деревянную юлу. Еще вчера эти дети барахтались в азиатской пыли. И снег, и лед, и деревянная юла, и горы – все впервые.

И кто ж детей за ночь научил так лихо щелкать по юле? Что-то я не видел, чтобы родители их этому учили. Во сне, что ли, привидилась им эта игра? Тайна ...

И тайна впервые услышанного Пушкина. За классным окном все пушкинское: и снег, и лед, и краснощекие дети в самодельных санках, и дворняжки, восторженно барахтающиеся в снегу. Пушкин во все времена года – Пушкин, но зимой он светлее и пронзительнее, какой-то емко-радостный.

И первую в жизни шоколадку я получил из рук Кайсына. И впервые в жизни я увидел улыбчивого человека – это был Кайсын. Да и кому было улыбаться в нашем селе, медленно таявшем среди азиатской аховой степи, под ярким восточным солнцем. Улыбка была, как табу, как нечто постыдное среди ссыльных и потомков каторжан, среди отсидевших или ожидающих с минуты на минуту кары сей.

Смех-то я слышал, но чтобы человек так устойчиво улыбался – видел впервые. Он стоял весь залитый солнцем, большой и добрый... и улыбался. Я стоял с нашим свирепым черным псом, который сидя был на голову выше меня. Я взглянул на собаку, а она изумленно смотрела на Кайсына – не тявкнула даже – она была изумлена не меньше моего, ведь и она впервые видела улыбающегося человека – и мы оба растерянно смотрели на диво. И выражение глаз у нас было одинаковым. Он стоял и молча улыбался. В его молчании было так много, что мое пустое, громадное нутро не могло все это вместить. Я понял лишь малое из его неохватного молчания: мужество это не длинный меч и грозный взгляд, не шрамы вперемешку с морщинами, мужество – это стоять, стоять и улыбаться. И нет другой формы и сути мужества. Несчастен ты, когда не можешь улыбнуться. И нет иной формы сути несчастья. Ведь улыбка – это ответ небесам. Тогда у меня не было слов, чтобы выразить свои чувства. Но у меня были знания – тогда я без труда мог написать Библию, а сейчас у меня много слов, но с их прибавлением уменьшились мои знания, и сейчас Библию я могу лишь прочесть – и не более того. Знание – это безмолвие. Когда просыпается разум – исчезает истина.

Солнце. Безлюдье. Безучастная степь. На скорую руку слепленные из глины домишки – как мавзолей для живущих. Домишки, сооруженные на случай потопа, – снесет, не жалко, или еще постоит до следующего выселения. Черный безмолвный пес на цепи. И все это на одном уровне – и над всем этим возвышается улыбчивый, теплый Кайсын. И такая

горькая детская тоска вселяется в меня на исходе лет моих – совсем, как в тот далекий, давний день, когда Кайсын на новенькой «Победе» бежевым пятном растворился в оранжевом бесконечье округи, оставив меня в безнадежной пыли азиатской, с шоколадкой в руке. Шоколад я отдал маме, она отломала кусочек – мою долю. И я, окунув ноги в прохладный, булькающий арык, долго-долго ел эту сладость. Это была не еда, а вкус будущего. И вкус этот предвещал какие-то радостные дни, необыкновенные события – надо только вырасти и дожждаться. И я знал: вкус – это время и твое соучастие вместе со временем в создании и поддержании вкуса.

На базаре маленький мальчик маме: «Мам, купи мне резиновые сапоги».

– А зачем они тебе?

– Буду по лужам ходить.

Мать резко дернула его за руку, и чудо не состоялось. Ведь это чудо, ходить по воде и не намочить ноги, что чуднее и чудеснее на этой земле?

Мальчик просто помнит этот день, когда Христос шел по воде – и неправда, что дело было зимой, это было летом, мальчик все помнит и никому не даст соврать. Он сам много раз ходил по воде, не намочив ног, – и уверовать, что это может кто-то другой, ему не нужны усилия, попы, посты, молитвы и книги – ведь это так очевидно. Нас угощали конфетами и пряниками. Будь хоть одна конфета, мы с сестрой относили ее маме, она делила ее пополам, и только тогда часть конфеты наполнялась чудом.

Помню, как я съел пару конфет, не донеся их до дому, – помню разочарование свое.

Проходя мимо магазина (а их тогда было так мало и они были так желанны), мы никогда не просили маму что-нибудь купить – боялись, а вдруг у нее не хватит денег, и ей будет стыдно перед людьми. Никто нас этому не учил – просто это было тогда, когда детская душа была большая-пребольшая, она вмещала все и все знала. Растешь, видно, за счет души своей: сам становишься все больше и больше, а душа – все меньше и меньше.

Когда приходил гость, доля наша сладкая возрастала. Оставалось пойти в любимое местечко свое, мелко-мелко откусывать от конфеты – и день становился длинным-длинным, и сладость нечаястая уносила тебя далеко-далеко.

Сейчас у детей есть все – во всяком случае, больше, чем

у нас когда-то. Они едят много разного: вкусного и приятно-го. Но время так уплотнилось и убыстрилось, что у них нет времени насладиться съеденным. Еда ведь не только поглощение – это встреча с иным, и чтобы осознать значимость этой встречи, нужно время.

И едят они на земле, заземленные – и никуда их не уносит. А нет удивления – нет чуда. А удивление – это то, что движет эту жизнь. Нет удивления – не полюбил, не полюбил – не прожил.

Жизнь была щедра к нам, она давала такие длинные дни, такие длинные, что они тянутся из того предрассветного далека и не обрываются в иных временах, в тех, в которых живем сейчас.

Бедные еврейские дети. Они станут великими скрипачами, великими философами, но у них не будет самого главного в этой жизни – длинного-длинного дня. Того самого дня, по которому, еще хоть как-то, можно узнать себя. Еврей – это непрерывная смена форм обездоленности: от нищеты неподъемной – до богатства самоубийственного. И вечное освоение этих тяжелых форм. Бедные евреи – дайте им возможность остановиться. Мне их жаль, я чувствую свою вину перед ними, и мне стыдно. Если одного преследуют многие – преследуемый теряет вину, а преследователи ее приобретают. Мне не нужна вина чужая – мне своей хватает. Я их всегда выделял среди остальных – отламывал от доли своей кусочек хлеба, невзирая – богат он или беден. И они брали хлеб тот, как манну, и богатые и бедные. И хлеб тот был ценнее манны, ибо нес он не насыщение, а рукопожатие. И в хлебе том затаилась возможность, когда еврей мог бы сказать: «Господи, наконец-то из всех времен по кусочкам кровавым соберу тело свое, и найду душу свою, затерявшуюся в безвременье, и вселю в тело, мною собранное».

Моисей шел позади народа своего, он заслонял собой дорогу назад, дабы, оглянувшись, не увидел он Египта и не соблазнился бы сладким рабством, ужаснувшись долгой дороги к свободе. А впереди шел самый старый еврей. Он еле передвигал ноги и с трудом приоткрывал иссиние-фиолетовые веки, изредка поглядывая на оранжевое бесконечье песков бездонной поволокой глаз своих. Шел старец, сдерживая спешащих, – он знал, что до свободы не добежишь, к ней надо идти медленно и долго, очень долго. Евреи еще не вышли из Египта, ибо границы Египта расширились безмерно. В «Египте»

не только евреи, в «Египте» – все, и никто и никогда не покидал пределов «Египта». Из «Египта» можно выбраться или всем сразу, или – никому. У выходящих из «Египта» на ногах будут висеть оставляемые, и если удастся от них освободить ноги свои, то из оставшихся и родится терроризм. Родина терроризма – «Египет», то есть несправедливость.

Отломите еврею от хлеба своего, и вы увидите: и дальше и больше. И узнаете то, что у вас за спиной, чего не видите вы, а видит еврей с высот своей обездоленности. Ибо высота – это то, что сооружено из собственного страдания и нет высот иных.

Отломите еврею от хлеба своего, ибо он испытание ваше, отломите ему от хлеба своего, и спасены будете. Евреи – не ваше отношение к народу сему, а ваше отношение к собственным проблемам.

Национализм – попытка пролезть в узкую форточку при широко распахнутых дверях. Националист – первейший враг своего народа – мало того, что он забыл про распахнутые двери, он пытается и народ свой протащить через эту форточку, сужая возможности народа своего, ориентируя его на мелкое и злобное.

Национализм – это преграда, мешающая народу внести достояние свое в достояние человеческое.

Национализм и существует для того, чтобы уменьшить достояние народное.

– Вот, привез сына Пастернака – Евгения, – сказал Кайсын. – Его отец поддержал меня, трудно мне тогда было.

Подумалось: а когда тебе легко было?

Пастернак сказал свое слово – и Кайсын устоял.

Кто-то ж словом своим поддержал Пастернака... и так по цепочке, до самого Адама. И я зримо увидел, как братья по слову, взявшись за руки, держат шар земной – отсюда и Интернет, как калька с этого видимого братства. И если бы человек словом своим не увеличивал бы число братьев своих – люди давно бы перерезали друг дружку, и некому было бы держать землю, и она рухнула бы. На слове человеческом земля держится.

Кайсын шел по башильской земле, по родовой земле своей. Кулиевы издавна держали здесь коши свои. И шел по своей земле горец – потомок горцев.

Как много чего – знамого и незнамого – умещается в этом, собранном из эха живших и дыханья живущих, слове – *горец*.

По языку Кайсыну близки – азербайджанцы, по характеру – грузины (он предполагал, что Кулиевы – выходцы из Грузии), но безликое слово – горец, поглотив и характер его, и язык, который он любил больше всего на свете, – сблизило его с армянами.

В основе горского – провидческий консерватизм, который держится на двух ипостасях: не считать себя умнее предков своих и не пытаться догнать время, а тем более его обогнать. Время горец воспринимает, как зайца, бегущего по кругу. И не дело человека, а тем паче народа, гоняться за зайцем по кругу – лучше стоять в одной точке и достойно встретить его. Горец не ринется, сломя голову, искоренять несправедливость, он знает: ничто не может находиться в одном и том же состоянии, и несправедливость, переполнив собственную вместимость, уничтожит самое себя. На равнине ты, споткнувшись о камень, слегка ушибешься. Если ты в горах сдвинешь камень – можешь оказаться или под лавиной, или в пропасти. Поэтому горец примеряет и примеряет, ждет и верит, что время отрежет за него.

Горец – это тот, кто пришел в горы за свободой, как раскольники шли за ней в тайгу. И цена той свободы – меньше есть и больше трудиться. Но она стоит того. Горцы – общность людей, зреющих в собственном соку, не смешиваясь с другими, зреющими до осознания собственной сути и предназначения. Иван Грозный истребил одну треть населения, и все-таки это была обрезка дерева российского. Петр I срубил ствол, не дав созреть русской сущности. Спасибо, что хоть с корнем не выкорчевал. И растут из этого корня молодые побеги: кто на восток, кто на запад, мучительно пытаюсь срастись в ствол единый. Петр I нанес вреда стране своей больше, чем все остальные правители вместе взятые.

Горец же зреет в свободе: он не обременен властью, деньгами государевыми, правоохранительными обязанностями – зрей и вноси плоды свои в общность человеческих ценностей, ведь ничего тебе не мешает. Это Божий подарок. Вот он и зреет, и терпеливо ждет плодов своих. Он знает, что самое необходимое, самое ценное сформируется само собой и как награда непременно придет к людям. Ведь мироздание, как и слово художественное, потихоньку отторгает все лишнее и долго-долго возвращает необходимое.

Горец говорит: «Если я пожелаю кому худа, пусть оно вер-

нется ко мне, если кто возжелает мне зла, пусть Боже вернет ему желаемое».

Горец – это когда не в унижение бедность и богатство не в гордыню. А это и есть свобода, за которой он и шел сюда. Не всякому дано то, что он искал. Да не всякий и знает, что он ищет. А здесь повезло по-крупному.

Горец не интересуется национальностью другого. Он просто спрашивает: «Ты горец?» Горец никогда не скажет: «Спасибо», ибо этого слова нет в языке горца. Делать добро – это обязанность, и благодарность здесь не предусмотрена. На чье-то хорошее горец может сказать: «Будь здоров, богат и щедр», надеясь, что усвоив эти слова, ты вынужден будешь творить добро.

Для себя в первую очередь горец говорит: «Если ты хорош, то хорош для себя». И это справедливо. Но жаль, далеко не всякий горец, говорящий, что он горец, является таковым. Ибо далеко не всякому дано впитать то, что вмещается в короткое слово – горец. В полной мере это удалось Кязиму и Кайсыну. И это потому, что главная их мысль была: «Не утратить». Мы же безустанно пытаемся приобрести, не замечая, что приобретаемая – теряем. И эти люди – вне слов и оценок, как и родившие нас, ибо сущность не имеет словесного обозначения.

Река Башиль, ошалевшая от ледникового холода, неслась в теснине, пытаясь хоть как-то согреться. Отогревшись у равнины башильской, стихала, блаженно распадаясь на маленькие речушки. И все как бы замирало: и молкли немногословные горские птицы, замирали на полянках изумрудных солнечные смешливые маслята, и дышали глубоко и молодо древние сосны, и нежилось в теплой бирюзе умиротворенное небо, небо, из цвета которого японские женщины шьют себе платья и, глядя на эти платья, видишь благодать башильскую.

Японцы не потому японцы, что опередили всех по высоким технологиям. Японцы – потому японцы, что дождались собственного созревания. Дождались. Созрели. Создали. Все просто и всего достигнешь – только смирись, слушай, жди ... и все придет. «Все еще впереди ... надейся и жди». Не кричи и не бей себя в грудь, дабы не смела тебя, незрелого, неумолимая молчаливая справедливость. Бойтесь справедливости, ведь это одно и то же, что неумолимость и неизбежность. Несправедливый похож на игривую мышку, возомнившую, что на всей земле перевелись коты.

Несправедливые, не делайте мир беднее – не убивайте себя.

На глазах река Башиль изначально свое превращала в исход и вновь обретала начало. Будто к морю себя примеряла – где нет конца и начала. Если, взглянув на море, человек не поумнеет – он не поумнеет никогда.

Я могу представить себе националиста: в джунглях, в прериях, но у моря – никогда, ибо очевиден он у моря: жалок и мал.

Горец трепетно относится к чужому благодеянию. Когда ему сделают что-то хорошее – он собирает угощение для своего благодетеля и узелок тот называет *нохтабау*. А переводится слово это двояко: путь к Ною и подношение для Ноя. Сколько иронии и юмора в этом слове. И какова благодарность народная на добрый человеческий жест. Хороший человеческий поступок приравнивается к спасению от всемирного потопа. И без этого слова скучнее и скуднее было бы в ковчеге Ноя. Да оно просто там необходимо. Добро породило жизнеукрепляющую благодарность, спрессовалось в этом энергичном слове и открыло путь к спасению.

Нохтабау – звучит, как не подлежащая сомнению, очень значимая, нестираемая печать – краеугольный камень горской сущности.

У горца нет вождя, горец – парламентарен по сути своей. Горец не ринется в дали иные. Он утепляет землю свою, растит себя в ней. Он инстинктивно чувствует, что осваивать иные пространства – это измельчить и растворить себя в этих пространствах. Горец – это энергия, направленная внутрь.

К Кайсыну пришли скромные «племянники» в сопровождении величавых собак. Собаки хорошо понимали свою миссию, ибо для горца продемонстрировать свою значимость – все равно что выйти в мир в нижнем белье. «Племянники» без суеты, мгновенно разделали баранов, а бараньи останки раздали своим собакам. А те, устроившись под соснами, на шелковых мховых тронах, не спеша, поедали доли свои. Никакой праздничности, все по-домашнему. А что праздновать?

Праздник – это когда построил дом. А это еще никому не удавалось. Сам Господь Бог не завершил постройку дома. Мы, пребывая в жилищах, кладем фундамент будущего дома и сами станем фундаментом, и это не так уж и мало. Какой там праздник. Ближе к весне заканчивается сено, а купить комбикорм денег не хватает. И когда вы едете в горах в теплой

машине своей, посмотрите на заснеженный склон и на человека, стоящего рядом с отарой. Бараны хоть греются, выгребая из-под снега жухлую траву, а он стоит и стоять будет до самых потемок, под ветром, который вы услышите в наглухо закупоренной машине. Посмотрите на заснеженный склон и увидите горца. Он вернется в жилище свое, отмороженными пальцами возьмет горячую пиалу с шорпой и, отпив, вдруг почувствует дом, ибо дом – это не зримое, а осязаемое. Но, пообвыкшись, потеплев, он вновь возвратится в жилище свое. Посмотрите на снежный склон и на человека с отарой – и вы увидите дорогу к дому своему, который вы пытаетесь построить. Посмотрите на этого человека – и вы увидите, каким должен быть дом и как он выглядит, нет иных вариантов постройки дома.

А среди благостного башильского оцепенения и неспешности людской гравийная дорожка у деревянной столовой источала гул далекой городской жизни. Ближе к вечеру накрыли столы, но выяснилось, что тракторный движок, дающий свет, сломан – благо керосиновых ламп было вдосталь, ими и украсили подоконники. И без того крупные головы горцев, став в полутьме нереальными громадами, вырисовывали горскую вечерю. И, как осанна, рокотал голос Кайсына – «литаратура». И это бледное, почти канцелярское слово – литература, превратившись в «литаратуру», наполнившись сущностным выдохом человеческим, полилось и зазвенело звоном веселым падающих с Чегемских водопадов сосуллек, и пахло умиротворенностью зимней реки и наполнилось гулом переполненных памятью гор. Это и было основой того фундамента, который без устали и спеси строили горцы. И в этой внеземной полутьме мне виделась нить, протянувшаяся от Пастернака до Кайсына, а от него к нам. И мальчику Пастернаку что-то важное успел сказать Толстой, гостивший в его доме. И нить эта по цепочке тянулась до самого Адама. И не было ничего прочнее этой нити, и на нити той и держалась земля.

И если словом своим ты причастен к судьбе другого – ты обрел родственника, и нет ничего крепче того родства.

Господи, воюем ведь с родными. Кровь разжижается во времени: тот кто близок к тебе сегодня, завтра станет дальним. И только родство по слову и судьбе – вечно. И свидетельством тому – эта горская вечеря.

А утром ни Кайсына, ни его друзей не было – он ушел так же внезапно, как и появился, совсем как в тот давний азиатский день.

И вновь появились туристы, и зазвенел, закрутился день, полнясь беспечным бытом.

Туристы ходили под горой и влезать на нее не собирались – они считали, что осилившему гору не увидеть горы самой. Я тоже придерживался того же мнения. Мы не хотели испытывать себя, справедливо полагая, что Бог и жизнь сама – достаточное испытание.

Если Париж стоит мессы, то люди – оды. В конце концов, мы россияне, а это само по себе – испытание.

Другого мнения были горные инструкторы. Они перебирали свое снаряжение: веревки, «кошки», рюкзаки, а когда доходили до слова «шлямбур» – я начинал закипать, ибо я воочию слышал, как романтизм начинает обрастать профессиональной щетиной, а мне он виделся безбородым. В один из дней инструкторы, укрывшись под громадными рюкзаками, ушли покорять вершину. Дня через три они вернулись усталые, загорелые и очень довольные. Якуб подошел ко мне, не Якуб, а сплошное ликование.

– Ты чего такой радостный, Якуб?

– Как? Мы же хорошую вершину сделали и назвали ее «Пик Суздаля».

– Якуб, а ваш руководитель Витя откуда родом?

– Из Суздаля.

– А почему вы не назвали гору «Пик Ростова Великого» или «Владимира»?

– А потому, что Витя приедет в свой Суздаль и скажет: вот какой я молодец.

– А почему вы не назвали гору «Пик Кайсына Кулиева»? Почему не назвать его именем какой-нибудь бугор в округе, где его предки пасли баранов своих?

Как говорил один партийный деятель: «Из стихов Кайсына можно построить второй Кавказский хребет». И я, махнув рукой, ушел.

На следующий день ко мне подошел Витя.

– Слушай, о Кайсыне мы как-то и не подумали. Давай в округе присмотрим что-нибудь стоящее, а через пару недель сходим туда.

– Да, есть хорошая гора, ты ее тысячу раз видел – она напротив «каравеллы».

«Каравелла» – двухэтажный, громадный финский дом на поляне среди сосен. Покрашенный олифой, он и вправду похож на позолоченный первыми лучами солнца корабль, идущий по

зеленому морю. И мы с Витей, стоя у «каравеллы», увидели меж двух зеленых гор белую двуглавую вершину.

– Да, – только и мог сказать Витя.

Они пошли на эту гору, и в тот же год Верховный Совет утвердил название. И было это в далеком двадцатом веке, в 1973 году.

И Кайсын собрал этих ребят в ресторане «Берег», и они сидели там до утра. Что ели, что пили, о чем говорили – не знаю, меня никто туда не приглашал, но это уже другая, менее интересная история. Ушли из жизни: Иосиф Кахиани, Якуб Аккизов, Мусса Аппаев – ушли, но успели связать судьбу свою со словом и судьбой Кайсына.

Живы, слава Богу: Алеша Жарашуев – преподаватель яникоевской школы, Алик Кожемов – декан спортфака, Наурби Мамишев – преподаватель Центра научного творчества.

Они и сейчас ходят и выискивают что-нибудь красивое, чтобы назвать красоту эту в честь кого-нибудь хорошего и необходимого.

«Природные» люди, как любят выражаться они сами, – и с этим уже ничего не поделаешь.

На следующий год мы стояли и смотрели уже на его гору. Кайсын был умиротворен, как сытый лев, разве что не мурлыкал.

Только фронтовики полнятся благодатью при виде обыденности. И благодать та устойчива – она не может уйти, ибо место ее займет война, потому что прошедших войн не бывает, как не бывает забытых переселений.

А во мне все ликовало – и я видел воочию, как слово его отозвалось. Видел нить, протянувшуюся из того давнего азиатского утра до этой белой горы, утопающей в зелени гор соседних. Кайсын просто стоял и улыбался. И мне казалось, что рядом с ним и я становлюсь большим. На то и крупное, чтобы из малого сделать большое.

И из детства всплыло давнее: мужество – это стоять и улыбаться.

Мужество – это не длинный меч и грозный взгляд. И не шрамы вперемешку с морщинами. Мужество – это просто стоять, стоять и улыбаться.

И во мне звучала нелепая песенка: «С неба звездочку достану и на память подарю». И неважно: я назвал или кто другой, а важно, что это возможно. При жизни твоей и другого.

Через много лет, уже в веке ином, я с оказией добрался до Башиля. Снег, пустые, некогда веселые домики. «Каравелла» отгорожена колючей проволокой, а за ней – рыженький солдатик с автоматом – и почему-то подумалось: «А зори здесь тихие...»

Поплелся назад, натываясь в снегу на обрывки колючей проволоки.

Пустые домики, излучая давнее человеческое тепло, растопили около себя снег. И на земле той, оттаявшей, выросли маслята. Никогда еще не доводилось собирать грибы в снегу. А какие хитрые – все рассчитали: дождались, когда уйдут люди и уползут черви. На встречу со мной они явно не рассчитывали. И вот стоят передо мной, как удивленные дети. На равнине, в лесу, я собирал грецкие орехи и вдруг натолкнулся на большую ореховую кучу, радостно стал сгребать ее в сумку и почему-то посмотрел на дерево, с какой укоризной и обидой смотрел с вышины на меня бельчонок – до сих пор забыть не могу.

До ближайшей деревни восемнадцать километров и неизвестно, найдешь там попутку или нет. На сосновом склоне сель то там, то сям отгрыз куски горы вместе с деревьями; побледневшая горная речка почти не дышала, по бокам, под ногами, корчились обмороженные камни. Я шел и пел: «С неба звездочку достану и на память подарю». А мне бы петь какие-нибудь бодрые, революционные песни, что я часто делаю по утрам в теплой городской квартире, готовясь выйти в жесткий день. «На границе тучи ходят хмуро...», «Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой...» И вроде бы нет лучшей адаптации к грядущему дню. А я шел и пел дурацкую песенку: «С неба звездочку достану и на память подарю». Хоть она никак не увязывалась с тем, что я вижу, но без нее я плохо представляю то, что хотелось бы мне увидеть. Я шел по безлюдью и громко пел. У меня столько родни, и я это осознавал, так кому ж еще петь – как не мне? Вроде бы и за тысячу лет меня никто не услышит, но я узнал, что кто-то меня внимательно слушает и из невообразимого бесконечья, улыбаясь, кивает мне головой. Песня Ему нравилась. И весь вопрос в том: гармонично ли твое звучание с гулом черной дыры, или мягкий звук твой не преодолевает солнечной опеки? Я шел и пел простенькую песню и веровал в нее.

И неважно – кого ты встретишь в пути, а важно каким ты выйдешь из дома. Ты встретишь того, каким ты ступишь за порог.

МЕЖ КРЕСТОМ И ПОЛУМЕСЯЦЕМ

Не мы идем к Богу –
Это Он приходит к нам.

Проведал родственников в уразу, и – в полутьме – жду первый и последний на сегодня автобус. Снежная поземка с воем вгрызается в без того уж изъеденный дорожный булыжник. От вида придорожного глиняного холма, отутюженного тракторным ковшем до перламутрового блеска, становится еще холоднее. Маленькая деревенская почта с громадным гербом на стене, слепленным местными мастерами, вылупляется из дремучих снов деревенских рассказами О'Генри, и черные скалы нависают над темно-сизой продрогшей округой.

Ураза. Попы в золоченых рясах, с громадными крестами золотыми на мощной груди, муллы в шелковых роскошных халатах, немислимых тюрбанах, – ряженные под мультяшных халифов. Зима. И до веры – как до весны. А где-то вера: веселая, несказанно молодая, как и весна сама. А где-то вера пузырится на краешках губ сладко спящего младенца. А где-то вера нежится в вечерней прохладе речной. А где-то вера теплится в птичьем гнезде, и обогретые ею желторотые верующие выдыхают хвалу переполненному восторгом небу. Я стоял и грыз семечки и всматривался в дорогу, ожидая автобус, а увидел мальчика совсем рядом с собой, а увидев, от растерянности предложил ему семечек. Мальчик безучастно посмотрел на меня и сказал:

– У меня ураза.

Хорош же я был – белоголовый, на этой зимней дороге, с грохотом дробящий черные семечки в разгар уразы. Мальчик же был значительным и безучастным, как часть этой округи. Мне даже на миг показалось, что округа безмолвно, не напрягаясь, исторгла его из себя. Волосы у мальчика были цвета каштана, прочного, крупного, но несъедобного. И я вспомнил городские каштаны, лежащие в ржавых листьях среди осенней тротуарной слякоти. И каштаны те были безнадежным и зрым безверьем.

И, когда глядел в глаза мальчика, в безнадежно бытовые его глаза, без усталости пытающиеся просчитать все земные варианты, у меня мелькнуло: а ведь вера – это деликатность. Мог бы семечки положить в карман, а потом выкинуть – птицы склевали бы, все грехом меньше. Мальчик был очень

несчастливым. Он был частью дороги, важной частью, но он никогда не сможет стать идущим по дороге, которая выводит на путь свой. Вера – это когда от тебя тепло даже на этой стылой дороге. А какая ж это вера, когда от тебя знобко? Он будет неистово молиться, но верующим ему не дано стать, ибо вера дается, а не приобретается. И дается она вначале, а никак не в середине или в конце. Просто некоторые запоздало с ней встречаются, но она была в них изначально. Павел не пришел к Богу – он к нему вернулся. Еще не было человека, который пришел бы к Богу: это невозможно, ибо не мы идем к нему – это Он приходит к нам. «Званных было много – избранных мало». Христос выбирал. Выбирали и Христа.

Вера – это не ум в голове, а пупырышки по коже. Путь – это то, что ты можешь пройти. Пройди, сколько сможешь, и путь, тобою пройденный, сам осилит все оставшиеся дороги. Если ты проехал – значит, мимо, мимо времени и сути. Идущий – весел, едущий – печален. Но в жизни все с ног на голову. Едущий – весел, идущий – печален. И Бог, глядя на наши пятки, ничего понять не может. Вера, когда душа и тело шагнули за предел, предел видимого. Вера – это преодоление видимого. Вера – это отбор духовной элиты.

«Элитные» войска... не слышим, что говорим. А не слыша, что говорим – не ведаем, что творим. Элита – это улучшение и приумножение улучшенного. Ничего военные не улучшили, а о приумножении и говорить как-то неудобно. Ведь говорим мы не только общения ради, а общаемся, чтобы жизнь поддержать. С уходом слов уходит и жизнь сама. Самая большая беда – хлеб, купленный в магазине. Если ты посеял, сжал, смолот и испек – ты прожил воистину. «Добывай хлеб в поте лица своего» – это буквально, как и все Священное Писание. Пышность убивает веру. Не могу вообразить Христа, сидящим на лошади, еще больше смущает Христос, едущий на ослике.

Загляните в глаза ослика, и вы увидите собственную несправедливость и несправедливость мира всего. На ослика нельзя садиться. Ради веры самой. Вера – самое хрупкое из всего хрупкого. Если Христос сидит на ослике и пьет вино, это совсем не значит, что и ты машинально должен повторить все это. Ты сам решаешь, где тебе сесть и что тебе выпить. Вера – это гармония собственного «Я» и тончайших небесных посланий, предназначенных конкретно тебе. Без собственного стержня вера недостижима.

И, глядя на мальчика, вмерзшего в зимнюю дорогу, я вспомнил давний, давний, как предутренний сон, тот летний азиатский день. Впрочем, в Азии я помню только летние дни; бывало, и снега выпадали, кроме недоверия и недоумения они ничем и не запомнились. Проходя мимо старушек, продававших с придорожного лотка виноград, папа сказал:

– Выбирай, какой хочешь.

Я хотел взять самую маленькую кисть, но рука моя указала на самую большую. Старушки смеялись, смеялся и отец. И смеялись солнечные зайчики, пляшущие на терпкой тени тополиной. Из ласковых тополиных крон прорастали добрые птичьи гнезда. И птенцы, переполненные умильным шепотом листвы тополиной, самозабвенно распахивали желтые рты свои – они не есть просили, им петь хотелось. Они и пели про себя, и я слышал материнскую колыбельную, когда утомленные слова утекали в шепот листвы тополиной, унося меня в дали дальние, в небеса необъятные, знакомые, как щербинки нашего порога деревянного. И я навсегда вдыхал в себя неистребимый воробьиный дух, исходящий из гнезд тех добрых, и дышал запахом асфальта от расплавленной дороги, и крепко веровал и верил, что все это – навсегда. И смотрел – как на икону – на крохотное птичье яичко, голубевшее в бархатной пыли золотой. Эту пыль я не спутаю ни с какой иной. Я не соломку стелил, я перемалывал ногами босыми колючий песок, превращая его в невесомую пыль золотую, и Бог с небес сыпал под ноги мне пух тополиный. Для меня сотворили, я и сам сотворил – сам и ходил по благодати той. Я смотрел, дышал и слушал... и крепко веровал и верил, что все это – навсегда.

И в минуты растерянности, непонимания, когда я чувствую, что навек заблудился, я вижу ниточку из добрейших тополей, росших у теплой дороги, – и я хватаюсь за нить ту и с облегчением выбираюсь из заблуждений своих. Тогда я был заморожен увиденным и чувствовал, что все это – самое главное, самое важное в жизни моей, просто я не знал, как это все назвать. Сейчас знаю – это была вера сама. Все, что не вписывается в эту картину, и есть неверие. Мальчика на моей картине не было.

А был совсем другой человек.

Я его видел-то раз в жизни, и то мельком. А он возьми и останься навсегда. Картину, как оказалось, не всегда ты сам рисуешь. Приходят какие-то люди, вещи малоприметные, приходят незваные и уходить никуда не собираются. Я помню

его черное старое лицо, красные слезящиеся глаза и стоптанные сапоги, про которые говорят – «сапоги дорогу знают». Я стоял рядышком, а о чем он говорил – не помню. Я просто, раскрыв рот, смотрел на этого человека. У края дороги была большая проплешина, и из нее торчали дорожные булыжники, присыпанные выгоревшим от пекла белым песком. Человек чернел у этой белой дорожной раны, среди благодистой зелени тополиной. И пронзило: у него нет ни дома, ни семьи, ни близких, а есть эта дорога и случайные встречные.

Обычно, когда говорили взрослые, я отходил в сторону. Не потому, что воспитан был, просто, когда говорили взрослые, от слов их размывалась округа, предметы и ощущения теряли четкость, физически чувствовалось, как едет земля, а вместе с ней уносит и тебя. Благо, маленькому можно, да и нужно было не слушать взрослые разговоры. И меня это очень даже устраивало. Округа, наверное, любит слова, но не те, которые мы высыпаем, проходя, а те, которые проговариваем про себя. Переполненные думой деревья, усталая дорога, удивленное небо, кот на солнечном подоконнике, пес в тени дворовой – все жило внутренним и соединялось друг с дружкой безмолвным пониманием. И лишь человек жил внешним, растворялся во внешнем и его ничто и никто понять не мог. И был он одинок во всей вселенной, ибо одиночество – это оторванность от иной внутренней жизни.

А черный человек улыбнулся и вытащил из кармана грязный-прегрязный платок, схваченный несколько раз прочными узлами. Руками и зубами распустил этот ужасный платок, вытащил оттуда кусочек сахара и протянул его мне.

Чего только не уместилось на этом некогда белом кусочке: желтая пыль придорожная, более темная – домашняя, нанесенная с домов чужих, и все это щедро было посыпано махоркой. Я взял его подарок и сунул в карман. На том мы с ним и разошлись. Он-то ушел, но остался во мне по день сегодняшней. Я много думал о нем, думаю и сейчас. Мне кажется, я многое о нем знаю. Он и не человек был вовсе, а время само. А время характерно своей нелепостью. Если и есть связь времен, то связывает их воедино одно лишь слово – нелепость.

Человек этот был и временем, и судьбой Балкарии – одновременно. Дома наши находились бог весть где, а сами мы пребывали вдали от них. Куда нелепей. Я почувствовал, что есть в нем что-то важное и непонятное мне, как и в тополе, что рос рядом с ним. Придорожные тополя так похожи были

на маму. Когда я смотрел на них: зеленых, теплых и прохладных одновременно – я думал о маме. Тополь у дороги всегда порождает грусть. Он уходит от тебя – уходила и мама, и я это чувствовал. Грусть – это когда от тебя уходят. Тополь в городе и тополь у дороги – разные деревья.

Городской тополь – он общий, он не твой. Тополь у дороги, да еще в степи полужилой, когда средь всего видимого он один – это твое. Он понимает свою значимость крохи, стоящей рядом с ним. Как же не усыновить ему этой малости – ростом с две виноградные кисти, одну из которых он держит в едва обозначенных ручонках своих. Вместе с тополями уходил и черный человек – уходил вместе со временем своим. Потому-то я и спрятал дар его в маленький карманчик свой, спрятал как память о нем и уходящем времени. А придя домой, я не выкинул тот сахар, а положил его на подоконник, и сбежавшиеся со всего дома муравьи щедро отламывали от сахара того и радостно неслись в норку свою. Уходили муравьи, уходило и время – это виделось в залитом солнцем, неподвижном зеркале оконном. Черный человек был из тех времен, когда в горы торговцы привозили комковой сахар, а взрослые дробили его на кусочки и раздавали детям. Он был из тех времен, когда горцы поедали арбузы с кожурой и спали под коровой – все равно ни свет ни заря вставать на утреннюю дойку.

Черный человек грыз соль. Все, что он ел, превращалось в соль. И сжалился Бог над ним и превратил ту соль в сахар. И ходил черный человек по дорогам чужим и делился с людьми Божьим даром. Достался и мне кусочек от доли той. Я уже шагнул в новое время, с громадной кистью винограда, а черный человек, протянув мне кусочек сахара, остановил мой бег за временем. Так и стою – одной ногой во времени ушедшем, кусочек сахара держа в руке, другой ногой во дне сегодняшнем стою, с громадной кистью винограда. И все пытаюсь разгадать загадку черного человека – кое-что у меня получается, но этого так мало.

И я, весь облитый солнцем, держа в руке радужную кисть виноградную, чувствовал, как во мне созревает сама свобода. Свобода – это то, что было во мне и в тополях, идущих вдоль теплой дороги к бирюзовой кромке неба. Мы, родившиеся с 1945-го по 1950-й, выносили в себе ту свободу, в которой пребываем и сегодня.

А семена той свободы бережно собрали отцы наши с

кровавых полей европейских и посеяли в нас. Рожденные в 30–40-х годах, так называемые «шестидесятники», глядя на нас, сформулировали и передали другим суть этой свободы. Мы не смогли бы этого сделать. Нам не до разговоров было – мы сами росли среди свободы и сами ее растили, да и говорить-то толком мы еще не умели. А то, что свобода наша не совсем благодная, так и кровь, из которой выросла она, – не враз смывается.

После уразы пришло Рождество.

Рождество – это когда кто-то родился и ты не один на этой земле. Это остро осознаешь, будто ступил в мороз из теплой комнаты. И еще пронзительное недоумение и жалость, что кто-то прет, не щадя души своей, не жалея души и плоти, и ближних и дальних, – прет, подвигая тело свое поближе к Богу, не понимая, что нет дороги к Нему, а есть Путь, исходящий от Него. Рождество – как нашатырь к беспамятству. Рождество и пахнет дальним и давним, едва-едва уловимым запахом нашатыря. И потому на Рождество пытаешься что-то вспомнить. Вспомнить то, что произошло или могло произойти, или тебе показалось тем давним-давним летним утром, что-то необходимое тебе сегодня и завтра. И в сознание втекает первый луч солнца на пупырышках крохотного тельца и крупные гроздьи росы под босыми ногами – и в том луче, и в росе той и затаилась разгадка произошедшего или беспричинно ожидаемого события. Воспоминание неумолимо накапывает на тебя, и кажется, что оно вот-вот взорвет бытовую, невнятную тягомотину... и ты, ойкнув, вылупишься из плотной пелены хаоса, и наступит ясность в тебе и округе. Но оно захлопывается перед самым носом, становясь желанной тайной, которая всегда рядом с тобой, но до нее ты опять не добрался... и досадно, как от несостоявшегося чиха.

Запах навоза ударил резко и неотвратно, и пахнул он одиночеством вселенским, и Христос приоткрыл печальные глаза свои. Рождество – праздник для молящихся и печаль для сирот, ибо рождественская морозная яшень пахнет просветленным сиротством. И, хватанув во все легкие то рождественское ощущение, я пошел к ней. Проведал я родственников в уразу, пойду теперь к родственнице-христианке. Но, увидев крест на ее груди, я замер: то ли крест был больно большой, то ли крест – это прерывность, остановка. А я веру чувствую, как движение. Она и молодая, и задорная, потому что в постоянном движении, и двигается она во благе самом. Чтобы почувство-

вать веру, надо самому пребывать во благе. «Будьте, как дети» – важнейшая, если не самая важная мысль Христова. Бед немного на земле, беда одна – дети перевелись на свете белом, а с ними вместе ушла и вера. Вера – это просто восторг, тот самый телячий восторг, который так не любят пишущие о литературе и в котором пребывают телята и дети.

В дверь позвонили, и она зазвенела: резко, долго и нахально. На пороге две девушки восточной внешности, не по годам изможденные. И не салама от них, и не здравствуйте, а единый возглас: «А вы имя Бога знаете?» Вот тебе раз – жизнь прожил, а имени Бога, выясняется, так и не узнал. Я враз и потух. А они показывали какие-то пухлые книги, и до меня долетали слова: «Голгофа», «Армагеддон», «Содом и Гоморра». Меня окутало туманом, и я слушал издалека летящие слова и смотрел на давно не метенные лестничные ступени, на смачно залепленное грязью подъездное окошко, и реально чувствовал, как меня все дальше и дальше уносит от веры. Долго я их слушал в забытьи и унынии, и уж не помню, как и избавился от них. Не иначе как с Божьей помощью. И я почувствовал, как далеки от веры все кресты и халаты. Ну нет у веры атрибутов! Вера – это воздух на земле и на небе, а крест – на груди, а халат – на плечах.

Мы сидели с родственницей за праздничным столом, пили и закусывали. Горели свечи, горела елка – было все, лишь не было главного – детского подарочного кулька с открыткой Деда Мороза. Было еще светло и было видно, как за окошком идет снег, хлопьями крупными и дробными, как сами снежинки, одновременно.

«Папу забрали на фронт, а мама, копая траншеи, заболела и умерла».

Падал крупный снег за окном, и, падая, вспоминал ее родителей и, упав, мягко погребал их под собой. Погребал и воскрешал, воскрешал и погребал.

«Война унесла родителей, а победа лишь подтвердила мою потерю. Победа... и никого на всем белом свете – ни родных, ни близких... Громыхание слов «война», «победа» оставляет после себя долгий, едва слышимый звон сиротства. Мне девять лет, и я все понимаю. Понимание пришло вместе с бомбежками и укрепилось послевоенными горами почерневшего кирпича и камня, еще вчера считавшихся домами. И эти острые осколки черни росли из зеленой травы. И глядя на молоденькую зелень, порождающую пепелище, я сильнее ощущала

сиротство свое. Война и победа, объединившись, добивали меня. И я все понимала. И понимала я не то, что видела, а то, что увижу. Я понимала не сами события, а то, из чего вырастали и во что превращались они завтра. Сирота ведь – вечное вслушивание и неоглядная ширь ожидания. У сироты – вчера и завтра, но нет сегодняшнего дня...»

Диван, мягкие кресла, мерцающий телевизор – вещи, родившиеся в менее варварское время, с недоумением и непониманием напряженно вслушивались в слова моей родственницы и ничего понять не могли. А время, оно всегда варварское, оно созидает только внутри себя и разрушает все, что вовне. Люди для него – все равно что чесотка для человека, одно лишь желание – избавиться.

А снег все шел и шел – мягкий, умиротворенный, как давным-давно прошедшие события. И даже время лихое задремало, убаюканное чистейшей музыкой, просеянной сквозь семь небес и павшей с тех небес на землю белизной.

Снег шел и шел, и нес, и нес сохраненные им мои и чужие воспоминания. И в маленькой снежинке умещались воспоминания всех и все воспоминания. И голос моей родственницы в такт падающим снежинкам озвучивал прошедшие события. И я, сидя рядом с ней, слышал отзвуки далекого далека. И как это африканцы обходятся без снега? Как трудно им – в монотонном пекле – вспомнить ушедшее.

Солнце – это всегда настоящее, снегопад же – вести из прошлого, музыка ушедшего. Кто-то читал Библию, кто-то Коран – читающим хотелось приблизиться к Богу, но если ты не слышишь песен падающих снежинок, в которых уместились и Библия и Коран, тебе никогда не приблизиться к Нему. Далекий от поэзии – далек от веры. Вера и монотонность – несовместимы. Вера – это полифония чудес, фейерверк умилений и изумлений.

«Нас, сирот, разместили в уцелевшей военной казарме, на самом краю города, на высоком обрыве речном. Дальше нас были лишь степь да горизонт. Степи было много, аж до самого стыка земли и неба. И если бы не речка и нечастые деревья, искореженные ветром речным, можно было подумать, что жизнь отсюда давным-давно ушла и возвращаться не собирается. А жизнь была в городе. Кто в телегах, кто на тележках, а кто и в мешках заплечных – растаскивали кирпич. И, глядя на них, я думала, что люди собрались строить хоть и мирные, но блиндажи. Из этого кирпича, пропитанного войной, ничего

мирного нельзя было построить. Все мельтешило, неслось и кружилось, и, глядя на этих оголтелых людей, я думала: молчаливые, но деятельные проповедники собственного несчастья. Слов таких, конечно, не было, но суть была именно эта. Слов не было, но остро ощущалось строительство всеобщего сиротства. За все время я не видела хоть одного просто так сидящего человека. А мне так хотелось увидеть такого. Вид мирно сидящего человека подсказал бы мне выход из собственного сиротства. Так мне казалось, и я верила в это.

Директора детдома Порохню то носило по комнатам дома нашего, то выбрасывало во двор. И он все давал какие-то распоряжения нашему плотнику Расщупкину. А тот, лысый, в полотняной, до белизны заношенной рубашке, весь день стоял за верстаком и все строгал и строгал, утопая в янтарной древесной пене, и от запаха этой ласковой пены я ощущала какое-то жгучее сиротство. За одним ухом у него ловко была пристроена папироса, а за другим – остро отточенный карандаш. За все время я от него и слышала разве что несколько десятков слов.

Чтобы как-то заполнить день наш, Порохня водил нас строем по двору, и мы пели солдатские песни. Вместе с нами шла дворняжка, наша Афелия, и не в такт, с величайшим неодобрением, подвывала песням нашим. Когда не одобряешь – это всегда не в такт. Видя, что в городе все что-то строят или на худой конец ремонтируют, Порохня решил отремонтировать наш дом. Неделю где-то пропал, нашел черную краску, и мы покрасили фундамент, на большее ее не хватило. И все вернулось к строевой да песням.

И тут на той стороне реки появились цыгане, и жизнь наша наладилась. Цыгане появились внезапно, как война, победа и сиротство. Порохня сказал, что если появились цыгане – значит, будут красть. И наша, мол, задача защитить социалистическую собственность. Но кроме солдатских панцирных кроватей и нас, лежащих на них сирот, никакой другой собственности у социализма не было. Порохня приказал Расщупкину смастерить нам автоматы. И тот мало того, что вооружил нас, но и для пущей похожести окунул оружие в остатки черной краски. Нам выдали красные нарукавные повязки с буквами «БДО» – боевая дружина обороны. И стали мы и днем, и ночью охранять нашу собственность. А на праздники рядились в пестрые лохмотья и танцевали «цыганочку».

Я стояла с автоматом и в свете луны видела усталых цы-

ган, певших заунывные песни свои, серенькую задремавшую речонку, черные враскосьяк растущие деревья, груды мертвенно-бледных камней речных, и все это поглощалось бесконечной теменью ненасытных полей. И я, замерев, стояла, прижав к груди автомат, и чувствовала свою оторванность от всего этого. И вдруг что-то мягкое и шершавое коснулось моей руки, враз наполнив ее теплом. В свете лунном, прижавшись ко мне, стояла наша Афелия, стояла, задрав голову, неотрывно смотря на меня. В ее глазах было столько теплого пронзительного понимания, и понимание то заливало меня с ног до головы, и слезы текли из глаз моих. И мне стало жаль себя. Но больше всего, больше чем себя, жаль мне ту девочку. Век проживу – век ее помнить буду, и если есть жизнь на свете том, то и там мне ее не забыть.

Она украла у подружки носовой платок. Мы раздели ее и поставили посреди спальни. Была поздняя осень, из вечно разбитых окон несло предзимним холодом. Мы сидели, укутавшись в одеяла, а она стояла голая. В свете лампы керосиновой крупные пупырышки на тельце ее виднелись издалека. Лопатки у нее развернулись, как зачатки неотросших крыл, а вместо попки торчали две острые кости. Она стояла, отвернувшись от нас к окну, а в окне полыхали крупные звезды. Мы, обездоленные, нашли себе в утешение еще более обездоленную. Так там тогда казалось. А сейчас, когда я вижу в окошке звезды, ко мне в комнату из незабываемого далека вливает голая, продрогшая девочка и худеньким тельцем своим заслоняет свет всех звезд.

И сейчас, когда я думаю: «Почему я – несчастливая женщина, почему все женщины несчастны?» – перед глазами моими встает как ответ та голая девочка из послевоенного далека, и я понимаю, что женщина не может быть счастливой, потому что изнутри ее прорастают крылья, а внешнее комкает ее крыла, прессуя из них две кости. И от этого столкновения внешнего и внутреннего женщине всегда больно. Женщина – боль въяве. Одни женщины смирились с двумя костями позади, у других в глазах предполагаемые крылья за спиной.

...Ну ладно, ничего себе я Рождество тебе закатила. Не Рождество, а история сиротства».

И в ее выбеленных одиночеством бледно-голубых глазах мелькнула тень продрогшей девочки.

И она отвела меня в спальню.

А спать совсем не хотелось.

Наверное, потому что Рождество я представляю, как утро, а кто ж спит по утрам? Утром человек встает – встает во весь свой рост.

Уличный фонарь, а за фонарем тем – громадная луна, а меж ними – снега и снега падали перед фонарем, бились о землю и вновь возвращались к луне, создавая белые холмы в желтом бесконечии. И трепетное белое и желтое заливало комнату, и казалось – не в жилище я, а в вагончике фуникулера, и вагончик тот, укутанный снегами, по белым холмам небесным уносит меня в желтизну первоздания. И в свете том постель показалась неправдоподобно белой. Я не мог лечь на нее – она явно предназначалась кому-то другому. Лечь на нее было все равно, что есть при голодном. Есть при голодном до слез пахучий хлеб...

Ноздри младенца почувствовали запах стылого навоза, и пахнул он чистотой предстоящих событий и одиночеством зимнего ветра в продрогшей степи. Младенец улыбнулся и приоткрыл печальные глаза свои... и наступило Рождество – праздник молящихся и печаль всех сирот. А постель моя пахла добрым рассказом, который предстояло еще написать.

Книжный шкаф, столик, несколько стульев, а на полу, в углу, трофейная немецкая картина. А на картине той совсем не рождественский снег. Снег тот был грязно-серым – первый снег послевоенной Германии. Это был не снег, а состояние разбитой вдребезги страны. Даже из этой белой благодати, чем щедро делилось небо само, оказывается, можно слепить безысходную грязь. На книжной полке попала книжка «Фельдшерство». И мне подумалось: «А наука эта вполне могла произойти от фамилии Фельдшер».

И ходил я по комнате, и носило меня от слезной чистоты Вифлеема до кроваво-серой усталости послевоенной Германии. И, устав, присел на коврик половой, взглянул на стену и обомлел... В красном платье с белой оторочкой по краям со стены на меня строго, но по-доброму глядела кареглазая Мать Божья – работы Петрова-Водкина. И мне показалось, что не со стены Она на меня смотрит, а с тех белых холмов небесных, щедро политых светом лунным. И среди зимы из меня болюче выцарапывались весенние слова Есенина: «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». И мне срочно захотелось написать рассказ, навеянный белоснежной постелью, которая предназначалась не мне. Я вбежал на кухню – ручки и бумаги я там не нашел. А нашел коробку

спичек. И я, намочив спичку, стал писать на белых кухонных изразцах. Писал в забытьи и исступлении. Спичек мне хватило, но вот изразцы закончились. Не помню, о чем я там писал, но в сознание впадают кадры из «Мира животных». Лев терзал олененка, бегемот, отбив его у льва, засунул голову несчастного себе в пасть, стал делать ему искусственное дыхание. Тут же слетелись большие белые птицы и, став в круг, замахали крыльями, разгоняя зной африканский, вея спасительной прохладой на бегемота и олененка. Я не помню, что я там написал на белых стенах тесной «хрущевки», но помню что-то доброе, которое не исчезает, едва появившись, а оседает внутри тебя навсегда. Ничего добрее я не писал и уже никогда не напишу. Жаль, не помню, о чем.

Я сидел на полу и смотрел на падающий снег, на луну, на волшебный уличный фонарь, а на меня строго, но по-доброму смотрела кареглазая Мать Божья, и за спиной у меня белела постель, предназначенная не мне. Так и просидел до утра в благостном оцепенении. А утром попросил у нее картину. Она молча ее протянула, и крест на ее груди не казался таким уж большим. По глазам было видно – и она не спала. Так трудно уснуть в Рождество.

Я шел домой, и дом мой был совсем рядышком. И шли сквозь сугробы сонные люди. И, глядя на них, подумалось: «Господи, меж крестом и полумесяцем – шаг, но в шаге том – забыли, потеряли человека».

Хоть тысячу лет смотри на небо – ты не увидишь Бога. Бог затаился в другом. До века скончания молись – ты не увидишь Бога. Бог не приходит в одиночку и не приходит к одиноким. Он является вместе с Благостью к тому, кто нашел Его в другом. Прошедший мимо человека – прошел мимо Бога.

А утренний запах снега и был запахом самой веры. И была та вера на стороне идущих. Несмотря на государство, на силу креста и полумесяца, – люди шли, шли, полня меня теплом веры своей. Идущих становилось все больше и больше. Господи, как много у тебя верующих. Шла пожилая пара – оба белоголовые, под стать снегу небесному. Они шли, помогая выбираться друг дружке из сугробов. Они шли, нелепо размахивая руками, нелепо передвигая ногами. Они шли, как в невесомости, шли как два человека, любовью своей преодолевшие земное притяжение и шагнувшие вместе в измерение иное. И, глядя на них, мне подумалось: «Они могут пройти и по лесу осеннему, не проронив ни слезинки», – так они

были сильны. Мне ж одному без помощи Божьей и шага не ступить в том лесу, не заплакав. Я умилился им, как умилился вере нашей единой, белой благостью ниспадающей со всех семи небес.

А снег все шел и шел, и не было конца снегу тому. Я поместил Божью Матерь не в красном углу, а у дверей. Пониже Ее я пристроил фотографию своей сестры и ее подруги. Их сняли ранним утром в горах Чегема. И горное утро застало их врасплох, не дав им раствориться в предстоящем дне. И я, не верящий поповским мифам, вдруг уверовал в Троицу Святую, которую вместе с Петровым-Водкиным и соорудил собственными руками. У меня есть своя икона и молитва от святого Сергея Есенина: «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». У меня есть икона, у меня есть молитва, и я глубоко верующий человек. И выходя из дома, я смотрю на Святую Троицу, и возвращаясь домой, я встаю пред ними. И мне не надо разбирать свои слова и поступки. В их строгих и добрых глазах я вижу прожитой день свой. И понимаю – день был прекрасным, просто мне трудно до него дотянуться. Человек не должен оставаться один, за ним одного земного присмотра мало – ему необходим и взгляд с небес. Господи, как хорошо мне под земным и небесным присмотром.

И, глядя на этот добрый снег, на убаюканные снегом деревья, на вступающих в бесконечный день свой верующих, мне подумалось: «Мы из жизни пришли – в жизнь и уйдем. И нет у нас выбора». Как нет выбора у падающего снега, растущего дерева, летящей птицы. Мы обречены на жизнь, и выбираем лишь, на что нам жить. Господи, на что бы я жил, если бы не снег Твой?

И МЫ ТАК СМОЖЕМ

Московская улочка. Двух- и трехэтажные купеческие дома – крепкие и по сию пору. Рядышком церковь в рост с домами. Меж домов – старые деревья. Кое в каких окнах горит свет. Троллейбусные провода в небе – будто кому-то к поломанной руке приделали штaketник.

Хотели покрасить пол, но передумали и выкрасили дома в темно-коричневый цвет. Хотели покрасить окна, да разрисо-

вали купола в темно-синее. Черную краску просто вылили на тротуар.

Улочка резко сворачивала за церковь, образуя нерукотворную площадь. И казалось, что воздух, атмосфера тут иная, нежели на других улицах Москвы. Здесь еще не выветрился дух Аввакумов, густо смешанный с бездуховностью коммунистов. И я думал, что вот-вот откроется булочная и на площадь хлынет терпкий библейский запах хлеба. Темновато было, но во тьму эту исподволь тяжело пробивался свет. И тогда я увидел его. Он стоял на краешке тротуара, рядом с едва видимым «Запорожцем». Стоял маленький человек, одетый то ли в маскхалат, то ли в сероватую робу медбрата. Черная борода, черные длинные волосы, четкий взгляд, точно знающий, чего он хочет.

Ему надо перейти на другую сторону улицы, благо над головой его нимб. Он, видно, не может ходить по темноте, он ходит только по свету. А нимб у него – выбеленное полукружье, не дающее внешнего света.

Стояло существо в почти что белом одеянии, то ли усталый святой, долго пребывающий с нами, то ли сам Христос, то ли геолог-шестидесятник, вернувшийся из тайги домой, а, может, художник нарисовал себя. Долго стоял человек, стоял, пока на той стороне улицы земля не окрасилась в теплую желтизну, которая пятнышко за пятнышком озолотила мрак прилегающий. И над церковью, на небе, раздвинув облака и тучи, появилась маленькая полоска синевы. И непонятно было, то ли день грядет, то ли ночь вот-вот заполнит землю мраком. И, глядя на возгорающуюся землю, подумалось, – и мысль та была сумасшедшей, – а в случае чего ведь можно и без солнца. Конечно, это был сам Христос. И, глядевшего на него, меня пронзило и озарило – и я умел когда-то так делать. Дальние, смутные отголоски памяти говорили мне, что это совсем не сложно. Да, это был Христос, и пришел Он не грехи наши искупать. Прожив нашу жизнь, самый злобный злодей искупит сам грехи свои, и даже Малюте достанется крошечное местечко в небесном предбаннике.

А пришел Христос сказать нам несколько незатейливых слов, но слова эти самые важные. Он хотел сказать нам: «И вы так сможете».

И мы так сможем – ведь не гонят же нас табуном на Голгофу. Нам надо-то всего – осветить рядом с собой кусочек земли, величиной всего лишь в тень свою. А каково слепым –

им и мир надо построить, да еще и осветить его. Мы сможем это, только надо вспомнить, как это делается. Скажи ребенку своему: «Вон человек, стоящий рядом с тобой, посвети не него светом своим и ты найдешь в нем все, что необходимо тебе, а он осветит тебя и найдет свое – без чего и его жизнь была бы невозможна. А от света вашего светло станет на земле всей». Скажи это и спасешь ребенка своего и всех тех, кто уверует в эти слова. И тогда мы тоже так сможем.

Человек рождается трижды. Первый раз из тела твоего, второй – после слов твоих, третий – когда простую суть Христовых слов уразумеет. Рожденный лишь раз – не жилец, а проживающий. Все ведь так просто – осветить маленький кусочек земли и сказать несколько простеньких слов.

Я перевернул картину. На обратной стороне карандашом написано название картины – «Находка», и фамилия – Синицынъ, с твердым знаком на конце, будто замком защелкнутая – наверное, чтобы суть не утекла.

Я купил эту картину в дремучих девяностых, в московском полутемном переходе, купил у человека, одетого в лохмотья, обросшего серо-пегой гривой. И из зарослей печальных смотрели на меня добрые карие глаза, глаза человека, нашедшего на этой земле что-то несказанно важное.

НА МАРШРУТКЕ ПО ОБЛОМКАМ

Нет на свете простого и сложного по отдельности. Простота – суть сложного. А сложное – сердцевина простоты.

Шофер маршрутки, не оборачиваясь, на каждой остановке бросал в салон одно-единственное слово: «Выходите?».

Все молчали. Больно надо. Лишь женщина, стоявшая рядом со мной, всем телом тянулась к шоферу и звонким, задушевым голосом откликнулась: «да» или «нет», в зависимости от обстоятельств. В этих обрывках слов было столько соучастия – будто сын ее сидел за рулем. После десятого «да – нет» я не выдержал и хихикнул, а она, повернувшись ко мне, серьезно так, с каким-то детским недоумением сказала: «Ну, ведь человек спрашивает». Будто машина резко остановилась, будто в кресло меня впаяло. Ведь человек спрашивает. Это ж такая

важность, а я воспринял ее как пустяк. Еще вчера я мог быстро откликнуться на зов человеческий. Я враз осознал, что пребываю среди собственной разрухи. Зато узнал, как починить себя. При строительстве дома – со стены, с верхних ее рядов, можно убрать бракованные кирпичи и заменить их новыми, – с человеком сложнее, бракованные детали всегда у основания, и рушить надо всю стенку.

Думая о своем, я едва заметил, как она бабочкой, плавно, выпорхнула из машины. А мы сидели, будто коконы, и о крыльях ничего и слышать не хотели и лететь никуда не собирались. Мы ехали решать свои проблемы, ехали из пункта А до пункта Б, но в пути том успевали наживать новые. А в окошке машинном застуженное зимой бледное небо неспешно наполнилось весенней синевой, и по небу тому безмятежно плыло одинокое белое облако. А по черному асфальту шла ничем не приметная, ничем не обремененная женщина, готовая в миг единый свернуть в любую сторону света, откуда услышится призыв человека. Шла простая женщина, шла, залитая синью небесной, освященная облаком белым. Шла на встречу с чужими проблемами, своих-то нет и быть не может. Пока она решает чужие – не успевает нажать свои.

Из горьковской ямы, из запасников своих прозвучало: «Человек – это звучит гордо!» А она просто себе шла, наполняя ничем не подкрепленные слова реальным смыслом. Глядя на нее, подумал: человек не только звучит гордо, но, что еще важнее, выглядит умильно. Она, небо, одинокое облако вращались друг в друга, образуя единое целое, светлое. И привиделась, и услышалась степь Тургенева, и пахла та степь полынью, и полынь та будила древнюю память мою, и память вещала о главном законе: «Нет на свете простого и сложного по отдельности. Простота – суть сложного. И сложное – сердцевиной простого. Простое втекает в сложное и сложное распадается на простое».

И все наши беды от незнания этого закона.

Мы стараемся отделить простое от сложного, становясь затором вечного закона всего сущего – закона единства и различия простого и сложного, оттого и наживаем все беды свои. Кто соблюдает этот закон, рождается под знаком человека, кто нарушает его – под созвездием людей. Планеты эти по сути своей далеки друг от друга, хотя и находятся рядом. Одни остаются под знаком человека, другие уходят в люди.

И эта сказочная женщина зримо показала мне ту грань,

где заканчивается человек и начинаются люди. Я смотрел на свободную женщину и думал: «Господи, ну зачем ей голова, ей и сердца вполне хватает, да еще и другим остается».

СВОДИТЬ СОБАК НА ВОДОПОЙ

И на безлюдной реке нет справедливости.

Наш поселок вдалеке от города, но рядышком с лесом и рекой. И еще у нас пять озер, из которых в город поступает вода. Пять одноэтажных барачков, жильцов около сотни, да и то не во всякий день. Напротив барачков наши самозахватные огородишки – по две-три сотки. Люди у нас простые, и фамилии у нас простецкие – Бордюжа, Рыжиковы, Виллисовы. Собак много – по две-три на человека, а кошек и того больше. И собаки какие-то – породы нашей, поселковой – одно ухо в небо, другое – к земле. Две ноги враскосьяк и две ровные – в общем, иноходцы. Горожане, зная нашу любовь ко всему простому, подбрасывают нам все безродное, беспородное, портящее эстетику города, а у нас на просторе, почти на воле, все живое смотрится как нечто незаменимое.

Мы так привыкли к своим животным, что чувствовали малейшее колебание их характера. И если пропадал какой-нибудь кот или собака, переживали не шутейно.

– Пушка что-то нет, Волосок куда-то запропастился, – тревожно шептались женщины.

Просыпаюсь я всегда от пения птиц – живу-то в лесу, можно сказать. А птицы размыкают глаза, потому что их щекочет преддверие восхода солнца. Они живут в ритме движения солнца. И вынуждают людей жить так же. Жить по солнцу – самый разумный вариант проживания. Такие крохи, а сколько ума. Не встал в пять утра – и не попасть уже в ритм уходящего дня. Сегодня я проснулся от тишины и разболтанности в душе и теле. Еще бы, ведь вчера было тридцать первое декабря – значит, сегодня первый день нового года. Вчера мы с соседями все песни спели и все, что могли, выпили. Похмельной боли не было. Чувствуешь, что ты тесто растекающееся и стараешься собрать сам себя. Ни лечь, ни сесть. Вышел во двор, а на улице теплынь: ни снега, ни ветерка, ни тучки – день весен-

ний в разгар зимы. Ни звука в поселке, ни шепота. Не зная, что делать, поплелся на речку.

Десятка два собак – за мной, им без разницы, лишь бы выйти за пределы шлагбаума, стоящего почему-то в конце поселка, а не в начале. Собаки уныло потащились за мной. Они прекрасно чувствовали мое состояние. Но стоило им миновать шлагбаум, они преобразились – устроили бега собачьи, кидаясь шутейно друг на дружку. Казалось бы, одна земля и лишь палка, шириной в несколько сантиметров, отделяющая их от свободы, и они прекрасно это чувствовали.

Дойдя до речки, собаки кинулись к воде и пили, и пили – будто неделю мучила их жажда. И, не удержавшись, я тихонько засмеялся – балкарец из соседнего поселка, видя меня у речки с моими спутниками, улыбаясь, говорил: «Когда человеку делать нечего, он водит собак на водопой». А собаки пили и пили. И делали это с таким удовольствием, что мне сквозь тихий смех подумалось: «Бог за этот водопой снимет с меня два-три незначительных греха». Когда много вопросов и нет ответов – иди к реке. Вслушайся в нее и ты услышишь лучший из советов. Но только не сегодня. Округа была в недоумении – должен быть снег, сугробы, холодный ветер речной, и вдруг – весна, только цветы и листва деревьев еще распуститься. Насторожились деревья – я впервые видел их такими растерянными. Притихли птицы. Остановилась река. И с противоположного берега глядела на нас громадиной глаз недоуменных корова. Произошел какой-то разрыв в мироздании, будто оно попало в воздушную яму. И сидели мы, безмолвные, на берегу речки. Сидели люди и животные. Сидели, блаженствуя в этой всеохватной немоте.

А какие глаза были у моих спутников – глаза, наполненные недоуненным безгрешьем.

Такие глаза бывают у святых, осененных ласковым озарением, пришедшим на смену тяжким невзгодам.

И вдруг перед глазами взметнулись брызги водяные, и холодные капли окатили лицо мое и переполошили шеренгу собак, и из крон деревьев резко порхнули стайки крохотных птиц. Человек шел по той стороне реки и метнул в воду камень. Всего-то, а мир вдруг наполнился суетой. Собаки вмиг обрели бытовой прищур. Не знаю, какое выражение лица было у меня, но оно, наверное, изменилось. Холод, прокатившись по рукам, наполнил грудь мою.

Мы встали и нехотя поплелись в сторону поселка. Госпо-

ди, как хрупка благодать. Преодолев семь небес и достигнув с таким трудом земли, она истончается настолько, что небольшой камень разбивает ее вдребезги.

Говорят, где много воды, там женщины стервы, а мужики пьяницы. У нас и вправду и женщины не очень деликатны, и мужики выпить не дураки. И вряд ли мы ночи не спим, думая, как бы соорудить какую-нибудь благодать. Но меня не покидает чувство, что благодать почему-то пребывает рядом с бедностью, разладом, природой и животными. Приближаясь к поселку, видя эти бедолажные бараки, черные полосы вспапанной земли, печальных собак, я ощутил запах простыней, внесенных с мороза в теплую комнату, и понял, что земля родила новую благодать, которая тихо всплывала к небесам, чтобы получить благословение Божье и вновь опуститься на землю. И вспомнил я улыбочивого любителя пословиц. Он приезжал на речку, грузил камни в старенький грузовичок свой. Иногда срубал дерево. Наверное, он строил себе дом – большой и прочный. И мне подумалось – наверное, если не водить собак на водопой, вряд ли можно построить крепкий дом. Дом держится на благодати, а благодать невозможна без животных. Выстроенное из воздуха крепче сооруженного из камня.

И я невольно улыбнулся мыслям своим. И собаки, глядя на меня, тихо, нерешительно замахали хвостами.

НА ОПУШКУ – ЗА МЕДОМ, К РОДНИКУ – ЗА ИКРОЙ

Кому – сказка, кому – быль

Я бедный человек, но почему-то захотелось меду съесть. Денег нет, а меду хочется. Где мед, а где бедный человек? Меж ними не сближаемые расстояния. Конечно, я мог бы взять ссуду и купить мед, но хотелось поменяться с торговцем, предложив ему что-то менее значимое.

Если не знаешь, что делать, иди в лес, деревья подскажут, да и к Богу ближе.

Если нет денег, это ж не повод не есть мед. Приободрился я от такой почти оптимистичной мысли. Пошел я в лес, а там грибов – что травы. Нашелся и пустой мешок из-под муки, сиротливо лежащий неподалеку. Поблагодарил я Бога

за то, что у меня две руки, и принялся набивать мешок тот. С Божьей помощью дотащил ношу свою до автобуса. А ноша, хоть и своя, а тянет. Не тянет лишь Ангел-Хранитель на плече твоём. Автобус довез меня до конечной, а там бабушек – можно небольшой пруд запрудить да маленькую речку перегородить. Сидят – скучают. Семечки давно проданы, и шелуха по ветру. «Я пришел дать вам рабочие места», – сказал я. Обрадовались они несказанно. Для бабушек червонец – больше, чем червонец. Ощущение, что ты жив да еще и нужен кому-то – это больше любого червонца. И на волне той радости они вмиг распродали грибы и благодарно вручили долю мою. Тут же продавался мед, и я купил самую большую банку. Меду не хотелось, не до него было. Меня охватила такая радость, и в волнах радости той звучали слова. У Бога все есть, и все бесплатно. Платит лишь тот, кто урвал вне воли Божьей не свое. И расплата гораздо дороже обретенного. Надоело сидеть в конторе и слушать бесконечные глупости недоразвитого начальника, а вечером есть лапшу с хлебом и картошкой. Не думай о дне завтрашнем своем – Бог об этом давно подумал.

В лесу у меня есть родник. Мы с другом приехали к нему и, разлив эту чистоту по большим канистрам, привезли в город, изнемогающий от употребления бацилл, живущих в водопроводе. Быстро разобрали эту чистоту вмиг ожившие граждане.

Я зашел в магазин и купил себе черной икры. У Бога все есть, и все бесплатно. И трудится Он, чтобы был ты – не разменянный, цельный. Беден не тот, кто не может купить мед, – беден, кто не верит в такую возможность. И не говори, что ты беден, это неправда.

И не говори, что ты плохо видишь и тебе до леса никак не дойти. Я доведу тебя до речки, вырежу первую попавшуюся палку, приспособлю к ней веревку заваливающую с кривым крючком на конце, и мы поймем вкуснейшую из форелей, и ты насытишься и враз окрепнешь, заодно и подлечишься. Только никогда не говори, что ты беден, это неправда. А там и лес уж рядом, а там и Бог неподалеку. И у Бога все есть, и все бесплатно, – лишь бы он узнал тебя, цельного и не разменянного, такого, каким Он и создавал тебя.

И если у тебя есть дальняя и тяжкая дорога – ты должен желать меда и икры. Для идущего мед и икра – не роскошь, а средство для движения. И если многочисленные враги твои

скажут: вот мы давным-давно пришли, а он идет другой дорогой, и ему по ней идти и идти и нет конца ей в жизни этой, давай мы лишим его средств к существованию, чтобы он, голодный, ослабший, недолго шел бы по дороге этой. Ты-то знаешь, что Бог всемилостив и щедр, и у Него все есть, и все бесплатно.

И будешь ты идти, обогреваемый солнцем ласковым и омываемый дождями светлыми. Уповая на Бога, ты осилишь любую дорогу, только не говори, что ты бедный. Бедный и короткого отрезка не осилит.

ОСЕНЬ. ДВЕ КОРОВЫ. ЛИСТОПАД

Карачаевским и балкарским женщинам, чьи истощенные несправедливостью, трудом непосильным и голодом руки вырвали меня у смерти самой, и не только меня, но и народ наш.

В вечном неоплатном долгу пред нежной, всепобеждающей мощью, я молюсь на руки ваши, они достойны молитвы.

Я никогда не предам их благодати во имя благополучия живота своего.

Осень. Сажу у окошка и тупо смотрю на большую башню котельной и высокое дерево, растущее у окна. Когда сажали, оно было с фундаментом, сейчас переросло дом пятиэтажный. Осень – это застывшее время въяве. Как зримо показывает оно время ушедшее. На дереве живут две вороны, у них бывают гости. По суетливым их движениям понятно – они здесь не хозяева. Когда обживали дерево, ор стоял, летели перья – сейчас дожились до молчаливого взаимопонимания. Раньше видны были горы, но какой-то богатый человек построил супермаркет в пол-улицы... и горы исчезли. Правильно сделал, но когда он жить собирается? Горы дальние в преддверии зимы – зрелище печальное. Степь хоть проветривается, а горы вбирают, вбирают все, что натворили мы на этой земле. Смотреть на предзимние горы – почти что горе. В них столько бед людских собралось, что никакая радость не могла приблизиться к ним. В них было средоточие некоей мудрости

небесной, но никакого земного тепла. В них много учености, знаний, труда, но никакого земного тепла. У мамы раковые метастазы проникли до самых костей, чтобы как-то отвлечься от боли, она любовалась причудливыми формами дыма, рисуемыми неустанной котельной. И муки ночные так высветляли глаза ее, что ничего земного в них и не виделось. Она до последнего пыталась хоть чем-то полюбоваться на земле, от нее уходящей. Дом старый – то вода капает из крана чужого, то чей-то стон, то кто-то кашляет, смеется кто-то, для меня невпопад, а кто-то в ночи смеется анашистским смехом. Накопившиеся за день людские невзгоды доходили до меня, преодолевая бетонные стены. Беды любят копиться в дому – они домоседы. Это радость не любит однообразия, она вылетает в форточку, в окно, в чуть приоткрытую дверь и плещется в просторах небесных хохотушкой беспечной. Вечера не спалось – то ли усталость, то ли старость, а скорее всего и то, и другое. От безысходья и слабости, обтерев все углы в дому, я лег в материнскую кровать. Ее боли, моя усталость, соединившись, унесли меня в небытие, в тяжелую дрему, без радостей и боли. Хотелось быть немножко котом, немного собакой, частично человеком, малость птицей, может, это придало бы жизни хоть какой-то смысл, а в смысле том и таился бы покой.

Время остановилось. И с одинокого дерева медленно, в час по одному, со стоном, нехотя падают листья. Лучше б я оказался в каком-нибудь Брянске, и осень была бы каким-нибудь не обременительным довеском к чужбине. И чтобы вырвать себя из тягостного безвременья, захотелось в лес, в листопад, где часто и обильно падающие листья дают ощущение времени и веру в то, что жизнь когда-нибудь, да продолжится.

Еду на маршрутке из конца города до окраин пригородного поселка – туда, где лес и где листопад приводит в движение время. Люди заходят и выходят из машины, ступая осторожно и замедленно, будто в незнакомое и тайное. Дома вылупляются из безвременья судьбою наружу. Осень – это всегда думы о прошлом. Живем-то мы прошлым, а с настоящим лишь боремся, с большим трудом превращая его в прошлое. Осень. Никаких цыплят. И считать нечего. Жизнь – как самодеятельный спектакль. Как и всякая самодеятельность – бездарная и глупая. Можно, конечно, хорошо спеть и станцевать, но соорудить жизнь...

Но зато – какие декорации: солнце, луна, добродушная,

улыбчивая собака, с чего-то вдруг – летящая птица, будто из колыбельной – ласковая трава и кот – себенаумыч.

Сойти б с ума от этой красоты, ведь все равно сходить по зряшности, по пустякам.

А ясновидящая осень бесстрастным голосом вещает: для жизни этой – ты малогрешен, и недостаточно свят для жизни той.

Мы не ехали по дороге, а продирались сквозь серо-желтый сироп, заполнивший землю и воздух над ней, продирались будто на лодке подводной. Всплыли у онкологической больницы, где в окнах, присыпанных придорожной пылью, чернели глаза, как черностволые, осенние деревья среди разноцветного фейерверка падающих листьев. Двор больницы весь в разноцветных кляксах. Кусок серой облупленной стены исчерчен таким же разноцветьем. На белом бордюре сидит маляр, за спиной едва живая бледно-рыжая трава. Сидит, обхватив голову двумя руками, покрашенный в те же цвета, какими он раскрасил двор больничный. И кому это в голову пришло побелить больницу, да еще и глядя в глаза больных? Это неразрешимая задача. Покрась – в желтое, зеленое, оранжевое – повеет неправдой, почти издевкой. Покрась в темно-фиолетовое – прямым оскорблением. И так-то – не праздник, а здесь – зримый приговор. Нельзя красить такую больницу, да еще и на излете осени, да еще и глядя в глаза больных. Это задача неразрешимая. Разве что в июле попробовать, ведь все равно красить надо. Взять попавшуюся под руку банку, зажмурившись, нанести первый штрих, – а вдруг повезет? Знойное, зыбкое марево, едва подернув пляшущие солнечные зайчики, оживит любой цвет.

То ли ехали, то ли нет – а здесь и вовсе остановились. Впереди авария – выяснение отношений среди машин – откуда-то взялись люди – они осенью куда-то уходят и, кажется, навсегда, а здесь стоят, машут руками с явным намерением докричаться друг до друга, но крики их вязнут в осеннем нейтралитете. На белой стене на матовой вывеске красными буквами написано – «Аптека». На мраморных, до блеска вымытых ступенях сидит кот, явно кого-то ожидая. На остановке люди, в отделении человек сидит на скамейке, ушедший в думы свои и миг от мига преобразовываясь в продолжение скамейки самой, становясь иллюстрацией к вещам Достоевского или Гоголя. А кот смотрел мимо домов, мимо людей, мимо жизни самой, изредка лениво подумывая – куда едут эти люди, что

высиживают в этой серости, слегка присыпанной палыми листьями? А кот с большим интересом вглядывался и вслушивался в невидимую даль, туда, где ему виделась воистину жизнь.

Из аптеки вышла старушка, укутанная в зимнюю шаль, — один кончик побелевшего носика выглядывал из-под шали. Придерживаясь перил, она медленно спускалась со ступеней, изредка и нехотя стуча стоптанными донельзя, еще «сталинскими», туфлями. Она шла по тротуару, шатаясь из стороны в сторону, коту тоже хотелось идти вразвалочку, подскребывая ногтями, с видом сильно утомленного существа, но врожденное изящество не позволяло ему никакой расхлябанности. Он жил, поглядывая игриво в глаза старухи, как бы говоря — ничего, мы еще поживем, но старушечьи каблуки, отдаваясь, стучали все глуше и глуше и эхом едва слышным оседали во мне; и кот, и вывеска, и ступени были похожи на Блока, а бабушка фоном была и видимым смыслом их страданий.

Вырвавшись из разрушенного города, от людей с ружьями в руках, прокопченных порохом, Блок стоял на берегу серого моря, покрытый небом серым, и высветленными голодом и безнадежьем до ясени неземной глазами всматривался вдаль... И видел в гравюре будущую блокаду, видел ее реально и четко. Кому рассказать, кого предупредить? Но человек недоступен человеку, это люди живут, наполняясь эпизодами из жизни других, — человек проживает жизнь свою. Умер Блок обычной смертью воистину живущего, от избытка людей и человеческой недостаточности. Однако Даниил Андреев писал — Блока я встретил в 1957 году в Бутырке — и я ему верю, ибо истинно живущие всегда говорят правду, просто их не слышат... и проживают от блокады до блокады, — пережив одну, не успевая удивиться следующей.

Я смотрел на людей у остановки, на одинокого человека, а в голове стучали глухо старушечьи каблуки каким-то вечным отстуком, и я чувствовал, как стареет усталая земля. 1968 год, советские танки в Праге. На стенах надписи: «Свиньи — убирайтесь домой». Толпы недоуменных, разгневанных людей и голос очень несчастного, некогда бывшего человеком, существа — мы пришли, чтобы освободить вас. Внутри так пусто и нет желания спросить у себя — кого и от кого? Писатель Пелевин точно выразил то мое состояние — Внутренняя Монголия.

Нет, у меня не было этого, потому что моя учительница Ирина Александровна Куянцева усердно обрывала чертополох

Внешней Монголии и без усталости ее поливала. У доски мой одноклассник бегло рассказывает что-то о Парижской Коммуне. Белое лицо учительницы покрывается красными пятнами, она в гневе. «Вот ты, Зарубин, задумайся над одной простой и удивительной вещью: из пяти миллиардов второго, как ты, нет на земле и во вселенной всей. Нет и уже никогда не будет. С ума сойти нужно. Ведь это здорово, но какая ответственность. И важно, чтобы это осознание текло в крови твоей, и это важно, это важнее, чем эта книжка, написанная многими умными людьми. И надо жить, жить неповторимой жизнью своей. Я десятки лет читаю эту книгу, я знаю мнение людей, ее написавших, но мне интересно твое мнение, Зарубин. – И повернувшись к классу: – Я никогда не поставлю вам положительную оценку, если не услышу от вас, в двух-трех предложениях, суть прочитанного, выраженную своими словами».

Школа школой, а мне надо вступать в 60-е годы, а как бы я туда попал в серой курточке и коротких штанишках с роговицей у коленок, куда я в таком наряде. Кто меня, «катаевского» мальчика, пустил бы туда. У меня были свои деньги, и я в «Детском мире» за 4 рубля купил брюки и за 9 рублей туфли на резинках – вполне пропускное одеяние. Мама до невозможного сузила брюки. Потом я нашел материал для рубашки – красно-белую вертикальную полоску, и мама, по моему проекту, сшила мне рубаху. Обычно она перешивала с отцовских костюмов. А рубаха получилась – спереди два накладных кармана, прорези по краям, да мне не то что на окраину 60-х, – мое место в такой рубахе – в самой середине. Я гордо пришел в школу, еще бы, я не в школу пришел, я так лихо ступил в новую эпоху, да еще и задешево и так достойно. Я с места выразил свое мнение, Ирина Александровна сказала: «Сядь, четыре». Это была первая и последняя моя четверка, она обычно ставила мне пятерки. Больше я эту рубаху в школу и не одевал, и снова пошли пятерки. К этой рубашке она отнеслась еще серьезней, чем я предполагал.

Я представляю Ирину Александровну и в наши дни, она говорит подросткам: «Я понимаю, как трудно вам, сама была в вашей шкуре: то ссоры со сверстниками, то непонимание родителей – всего и не перечтешь. Я хочу дать вам совет. Проснувшись, не торопитесь делать зарядку. Лежа, посчитайте все достоинства свои, тогда вы поймете, что на день предстоящий вам хватит хорошего, что в вас есть, и нет смысла перебирать плохое, что в вас ненароком занесло. И читайте Пушкина –

он на все времена и на случай каждый. Холодно вам зимой, читайте его солнечные стихи – и вам будет тепло. Жарко вам летом, просмотрите его зимние вещи – и вам станет прохладно и свежо».

Ирина Александровна понимала, как тяжело жить детям в бандитской стране, да еще и без Пушкина. Мне очень ее не хватает, хочется прийти и сорок пять минут помолчать о многом, все равно говорить уж больше не о чем, даже молодым и от природы говорливым. Стою на остановке, и незнакомая женщина, взглядываясь в меня, спросила: вы не в девятой школе учились – да, сказал я, но вас я вижу впервые. У всех, кто учился в этой школе, какое-то одинаковое выражение глаз – будто вы решаете все время что-то очень важное. Мне стало так радостно. Лет двадцать прошло с ее ухода, но ее вопросы еще живут в глазах наших, живут в ожидании ответа и будут жить до самого нашего ухода. Вопросы эти помогут выстроить свою неповторимую жизнь. И они – помогут нам при выборе: быть ли тебе беспредельной рожей или сладостным холуем, поддерживающем беспредел. А ответы на них и будут лучшей вакциной от неверного выбора.

Беспредельщики питаются мясом человека, холуи остатками мяса того. Человек же едва успевает прикрыть ладонью кровоточащую рану свою. Человеком быть легко, надо мало есть и много работать, и мыслить, он может думать обо всем, но только не о том, что весь изранен.

Мой отец в азиатской безлюдной степи умудрился найти сапожника, и тот сшил мне сапоги хромовые, мама перешила отцовский военный костюм с одной маленькой звездочкой на погонах, и я стал человеком пятидесятых и остаюсь в них до дня сегодняшнего. Когда я говорю «родился», я не о маме думаю, а об отце. Мама – это заботы, уход. Отец прошел три войны и выжил. Он думал еще тогда обо мне. Вернулся и родил меня. Это ж каким порядочным человеком надо быть, чтобы выжить в этой чертопляске и вернуть долг самому себе.

О жизни ничего сказать не хочу, но какие незабываемые декорации он мне подарил. Я и в той жизни неспешно буду рассматривать каждое деревце, ощупывать каждую травинку, ощупывать, а если застряну в более низких сферах, то коты и собаки сверху опустят хвосты свои и вскарабкаюсь до более-менее комфортных высот. Я их очень любил, а они благодарные и памятливые, помнят, наверное, любовь мою. А

пока жизнь прекрасна во всех ее проявлениях, тем более, что плохо она себя и не проявляет. Вокруг тихо и по-утреннему зябко. Я стою у дома своего в офицерской форме, подтянут, как и само утро, и как всегда смотрю на дорогу. И я услышал в начале дороги какой-то гул, он все нарастал и приближался, пока наконец не прорисовалась колонна машин. Я кинулся к ней и стал у обочины, приложив руку к козырьку. Ехали солдаты, ехали медленно, сидя в кузове на лавочках. Проезжая мимо меня, первый ряд поднялся и, вытянувшись в струнку, отдал честь торжественно и строго, ни улыбочек, ни шуток. Отъехав, сняли пилотки и приветливо ими махали, повернувшись в мою сторону. А солнце уж полностью вышло из-за горизонта и устало село на дорогу. Так я и встретил все машины. Колонна ехала, утопая в красных маках, мимо белых, без единой морщинки гор, ровненько присыпанных снегом, будто пудрой сахарной, они были очень похожи на пасху, которой нас угощали русские бабушки в день Христов. Колонна шла в коридоре тополей придорожных. И липкие листочки тополиные дружно защебетали о чем-то нежном. А солдаты так и махали пилотками и искренне не хотели со мной прощаться, но ехали, и солнце, сидящее на дороге, поглощало их – машину за машиной. Это потом я узнал, что их везли на корейскую войну – шел 1953 год.

Они и вправду не хотели со мной расставаться; когда тебя везут на войну, эти пылающие жизнью маковые поля, белые горы и мальчик у дороги, может, и были верой в то, что ты вернешься и вновь проедешь по этой дороге налегке, домой. А мне стало очень тревожно, тревожно, что это время уйдет. Светит солнце, потом приходит дождь, потом снег. Так и на смену этому дню, этому времени, может же прийти иное, а мне этого так не хотелось.

Вот почему Ирина Александровна так не одобрила мою рубашку. Не по сути моей была она. И я не только себя предал, но и это благостное время мое, мальчика в военной форме, этот праздник среди маков и белых гор. Я знал, что одев эту рубашку, я совершил что-то очень плохое, но чтобы столько предателей... Не до такой же степени... Предать и себя, и время.

И время то пришло – заморозила джазом, потом расколом на части – расколола гитарами «битлов» – их я сразу невзлюбил, а как их любить, когда они разрушали время мое, да еще и на моих же глазах. А время то было единственным – других времен у меня не было и уж не будет. Хорошо хоть хлеба поп-

робовал настоящего. Солнце уж побелело – выжгли солнце, в каких бутиках я куплю запах сирени после дождя, дворы и дома вдыхали этот запах, дышали им и никак надышаться не могли – это ж иное биение сердца, это ж иные мысли. Да что там говорить – каждый человек может оправдаться перед Богом, и это – правда, и это – страшно. И выхода нет – упавший слаб, выстоявший – мертв. Вот и живи. А где же жизнь? В мое время я думал: вот бы жить, жить долго-долго, а теперь я радуюсь тому, что прожил. А пожелание долгих лет воспринимаю как проклятье.

Но тогда я был молод, а мир был в осколках ледяных, но не тонул пока. Мне было лет четырнадцать и каждый осколок принимал за целое. Но мне хотелось осколки эти сложить и увидеть целое. Жить я в нем не буду, но для себя представить ведь интересно же. И поехал я в Ленинград. Думаю – посмотрю в Эрмитаже старых мастеров, попробую склеить их с современными – может, что-то и получится. Я было разогнался к Рембрандту, но меня остановили черные глаза женщины с картины. Подошел поближе – рисунок углем – Ренато Гуттузо: кипенье тел, а среди них – черноглазая черноволосая женщина, пытающаяся вырваться из громадьи тел – глаз большой – как у лошади, и похожа она на коня – коня, рвущегося из горячей конюшни. И горела она совсем не плотским огнем – она горела, защищая суть свою.

Казалось, огонь, затаившийся в угле, вырвался наружу. Рядом висели картины, писанные маслом, но они тускнели на фоне угольного огня, он был настоящим, прямо из недр земли. Я смотрел на горящую картину и стоял, пока стоялось. И мне подумалось: коммунист Гуттузо по идеологии своей должен сжигать человека, чтоб людям тепло было. А здесь – какая любовь, какое понимание к человеку. Нет – он не коммунист, просто заблудился в этом хаосе. Рембрандт меня уже не привлекал, и я к нему и не пошел, а остался около этой горячей огнем нравственной возмущенности. И больше я не хотел видеть ни одной картины. В Пушкинском музее – выставка Гуттузо. Картин было много – этой не было. Может, продали? Был бы богат, купил бы сразу. Но дома не повесил бы, а повез к дальним родственникам и раз в году навещал бы их.

Выйдя из музея, я подумал – эту женщину никогда больше не увижу, но я ошибался, ее я встретил через двадцать лет в одном бывшем некогда курортном городке, где уж давненько не было курортников, где вместо них дул устойчивый сухой ветер, он

не столько дул, сколько пророчествовал о грядущем. На краю площади, около тротуара росли две пальмы, две очень радостные пальмы, меж них был натянут баннер, на котором было написано: «Зори толерантности», и каждый пришедший мог узнать, что ж он празднует. Под баннером стояли два румяных мента, румяные и веселые, как сами пальмы. И они были радостные – будто их завтра переводили на работу в Детский фонд, куда трудящиеся и не очень радостно переводили деньги. Или их завтра отправляли в Кембридж на курсы повышения высококлассности лакеев. По углам баннера были нарисованы ромашки с разной величины лепестками: один – размером с кошачье ухо, другой – как ухо пожилого осла. Их сами менты и нарисовали – потому как художников не было, они определяют праздники по биению сердца своего.

Курортников не было, а было грустно. И чтобы граждане не горевали, власти сами назначали праздники. Глядя на ментов, толпившихся на площади, понималось, что курортники не скоро будут, а будет долгий застоявшийся запах суховея. Обрывками доносилась духовая музыка в исполнении пожарной команды и, как торжество развитого феодализма, розовели медалями лица ментов. И стоя во Внешней Монголии среди праздника жизни я возопил отчаянным гласом: «Боже, пошли хоть пару беспризорников для оживления, во имя реальности самой!» И он прислал, их были тьмы и тьмы. Они быстро захватили почтамт и вокзалы, даже те, которые предстояло еще построить. Тогда я вскричал в великом испуге: «Господи, я столько не заказывал!»

Еду в автобусе и с печалью через окошко смотрю на праздничную площадь. И чей-то взгляд возвращает меня в салон. Сквозь просветы человеческих контуров на меня смотрят громадные черные глаза на лице обугленном. И такая жалоба в них, которую знакомым и не доверишь. Жалоба облакам, небу, травам и еще незнакомому, ибо в незнакомом предполагается чистота или отклик на чистоту. Знакомым уж не пожалуешься, потому что они знакомые. Не будьте знакомы ни матери своей, ни отцу своему, ни братьям и сестрам своим, и женщине не будьте знакомы, ибо лишитесь молчаливой, чистой исповеди ее, и не лишайте ее возможности исповедовать вас. И в кипении тех глаз я видел горение духа человеческого. И горящие глаза ее пытались выбраться из нагромождения тех тел. Она была похожа на красивого иноходца, вылетающего из горячей конюшни. Выходя из автобуса, она взглянула на меня и едва

прикоснулась к руке, и я почувствовал такую мощную поддержку, будто свет небесный соединился с выстраданностью земной. И я понял, что эта женщина уж никогда не покинет меня. И понял я, что чей-то мимолетный взгляд и едва осязаемое прикосновение ладони и есть высшая награда, которую может получить человек. Я смотрел в ее горящие глаза прекрасного иноходца, а в глубине глаз этих виделся озорной, ждущий часа своего, взгляд жеребенка. Люди шли на площадь, а она шла в противоход, с лицом научившимся властвовать собой. Я смотрел ей вслед, и у меня ныла и болела грудь, особенно то место, где раньше было ребро.

И всплыла на поверхность фраза: «Человек – это образ и подобие Божье.» Эти слова не утверждение и далеко не факт. Это призыв и возможность, это выбор, это единственный наш выбор. Человек – это грандиозный Божий замысел незавершенный. Боже дал возможность достроить себя и, возможно, стать образом и подобием, все будет зависеть от вкуса и труда. Чтобы достроить себя, нужны детали, лежащие в тебе, детали, мимо которых ты прошел, недооценил. Они щедрой Божьей рукой разбросаны и по земле. Незавершенный человек подобен недостроенному дому, в доме том скапливаются снега, и дожди любят там пребывать, и ветра холодные.

Так незавершенный человек проживает от беды до беды, от горя до горя. И нет нетворческих людей – все вынуждены творить, некомфортно жить недостроенному – кто латает себя абы как, кто – достраивает себя на совесть. Как много на свете недостроенных, как мало верующих, ибо незавершенному никогда не постичь Совершенное. Никогда не ощутит Бога недостроивший себя человек.

Она шла сквозь толпу, чернея, как космическая капсула, сброшенная на землю. А она-то не падала, а хотела подняться над землей, а это разная степень горения. Она хотела приподняться над землей без всякой сверхпрочной оболочки. Я смотрел ей вслед и думал: с этим человеком я вовек не расстанусь. Я очнулся, слегка потряс головой, пытаюсь вернуться.

Нас в маршрутке осталось только трое: у окошка сидел чернявый остроскулый человек лет пятидесяти и полная уж возрастной полнотой круглолицая и светлоглазая женщина крестьянского вида, каких в балкарских домах через дом да в доме каждом. Про себя я ее называл – Дульсинеей, как в воду глядел – Дульсинеей она и оказалось. На ней финский прошитый нейлоновый плащ, который в моде был лет пятьде-

сят назад, он когда-то был розовым, а сейчас застиран почти до белизны. И из этой хламиды, в буквальном смысле, вытекали поразительной красоты руки – полнокровные, не маленькие, не большие, и течение руки подчеркивала одна круглая вена – будто река полноводная, она стекала к кончикам пальцев и никаких боковых прожилок. Я откровенно любовался ее руками. Она застеснялась и пересела на другое сиденье, оказавшись спиной ко мне. Из-за спины я видел ее руки, мирно лежащие на коленях, и руки ее жили как бы отдельной жизнью от хозяйки. И смотря на руки ее, вспомнил слова Энгельса – труд облагораживает. Эти руки и были выточены трудом, облагорожены высокими думами.

Я хорошо знаю эти руки, о них слишком хорошо помнит темя мое. Мы уже ехали по поселку. Неожиданно женщина обратилась к хмурому человеку, вжившемуся в окно и, наверное, подсчитывающему своих цыплят по осени (их оказалось меньше, чем предполагалось, и это еще сильнее портило ему настроение): «Тебе прислать Ахмата, он поможет посадить елочки». – «Нет», – буркнул хмурый человек, не отвлекаясь от мрачных мыслей своих.

Во дворах часто виделись рабочие в робах, присыпанных блочной и кирпичной пылью, и пыль та видом и сутью походила на день сегодняшний.

Женщина смотрела во дворы и столько детского интереса и столько доброжелательной энергии было в ее порыве, что она хотела передать это кому-то.

«Как думаешь, Хамзат за месяц управится со стройкой своей?» – Она перебрала всю родню свою – и дальнюю и ближнюю, знакомых и малознакомых и все горевала – люди до снега управятся ль со своей работой? А хмурый стоял на-смерть – ни одного вразумительного ответа. Вначале я думал, что они просто соседи, а поняв, что это – мать и сын и, почти разозлившись, сказал: «Что ты к нему пристала, ты же видишь, он беспонтовый, как украинская анаша, у тебя есть, кроме него, еще дети?» – «Да – две дочки и сын». – «Вот приедешь домой, с ними и поговоришь». Женщина, как мне показалось, обрадовалась такому варианту и, с трудом повернувшись ко мне вполоборота, провела ладонью своей около лба моего.

«Остановите», – сказал сын. И они вышли, а мне еще ехать было до конца поселка, и я в восторге стал высматривать их в заднем окне. Мать, скрестив свои прекрасные руки у натруженных колен, улыбалась во все лицо, и сынок пытался

улыбнуться, у него ничего не получалось – видно, давно уж не улыбался, но потуги его были усердны и прекрасны. Я сжал, и внутри у меня была сплошная улыбка, и она стирала блеклый день, запыленных рабочих и бесчисленные стройки в этом безвременье. Воистину, нет ничего более ценного, чем мимолетный взгляд незнакомой женщины и едва осязаемое прикосновение ладони ее.

Раньше я думал – что дергаться? Себя уж достроить – поздно. Жизнь прожита по-дурачки и самое ужасное – по-другому и прожить было нельзя. Выбор меж бывшими комсомольцами и бандитами. Меж ними – никакой разницы, просто каждый обкрадывает себя по-разному, не понимая, что украсть можно только у себя. И выбор – меж нежелательным и неприемлемым. Прожил, и никто тебя и не знает, и сам ты не ведаешь, кто ты такой – одни догадки. Каким тебя Боже создавал и каким ты стал? Узнал одно – нет других поколений, а есть иные формы сумасшествия. Что ты для жизни этой малогрешен, а для жизни иной – недостаточно свят. После встречи с двумя женщинами я подумал: достроив себя, я ж стану другим человеком и мир будет другим, пусть он предназначен для одного, но важно, что он будет другим. И кто-то достроит себя, и многие достроят себя, и в этом мире, собранном из личных миров, человеку жить уже будет можно.

Я доехал и стою в начале проулка, ведущего к лесу, и пытаюсь разобраться в климате, что царствует во мне, установленный маленькой ладошкой незнакомой женщины. Ладонь – это обмен внутренним движением твоим и мироздания. Поиск и установление гармонии меж ними. И ребенок смотрит на ладонь гостя не потому, что в ней конфеты, главное в ней – возможное спасение от больших детских бед. В отличие от взрослых ребенок многое знает и о многом догадывается. Ладонь – это то, что подкармливает и присматривает за сердцем. И сердце – как птенец голодный, все смотрит в сторону ладони. И если у тебя холодная ладонь – значит, больное сердце. Все живущее живет в ожидании ладони. И котенок, и кутенок протягивают усталые, недоуменные лбы свои в сторону теплой ладони. Не ищи человека в глазах его – глаза изменчивые, возьми в руки ладонь, и по теплу ее ты увидишь, кто стоит пред тобой. В ладони твоей мироздание и место твое в нем. Относись к ладони своей, как к самой большой ценности и цены тебе не будет.

И если тебя одолевают беды и невзгоды – взгляни на ла-

донь свою. И не забудь, выходя в мир, взглянуть на ладонь свою. Лучше всех понимал женщин Дон-Кихот. Он считал, что женщина – это ладонь. И как бы он в этом испанском пекле отстаивал суть свою и любого другого человека, если б его горячего лба не коснулась ладонь Дульсинеи.

Дон-Жуан же бабочкой порхал над женской поверхностью и думал, что это и есть ее суть.

Человек здороваётся с тобой не только потому что хочет показать миролюбие свое, он хочет показать сколько энергии он собрал ладонью своей и сколько энергии предназначается именно тебе. Каждый карачаевец и балкарец, едва освобожденный из колыбели, знает, что его спасли женщины – других просто не было. Но как им это удалось, знает не каждый. Над этим я думаю столько, сколько и живу. И узнал ответ лишь сегодня. Оказывается, чем сильнее потрясение, тем больше тепла в ладони человека. Из несправедливостей и пакостей возрастает тепло. Человек не приспособляется ко злу, не умножая количество зла того, а ладонью перемалывает пакости. Ладонь его для того, чтобы мерзости и пакости жизни преобразовывать в энергию благодати. Наши женщины освоили главный закон бытия: сжигаешь мусор – получаешь свет и тепло.

Труд они делили на труд – ради чего – это хлеб и одежда. Труд для души – праздная плоть угнетает вечно трудящуюся душу. И они трудились до нитя в теле и радовалась освобожденной душе. И высшая стадия труда – труд во имя.

Они работали в полях до эстетики ладоней своих. Ночами вязали, наполняя ладони жалобами сегодняшними и завтрашними радостями, одухотворяя ладони свои, и этими ладонями они спасали пришедших с войны подранков, стариков ослабевших и уязвимых детей.

Я всегда хотел поблагодарить вас, но сначала у меня не было слов, потом слова были, но я не знал, как их сложить, чтобы они были достойны дел ваших, а сейчас я боюсь уйти, не успев поблагодарить. Велики дела ваши, но и вас одарили щедрым Божеским подарком.

Вы вытрудили Тимура Энеева, Кайсына Кулиева, Сулеймана Чабдарова, Кязима Мечиева.

Тимура – умного, Сулеймана – праведного, Кайсына – солнечного, Кязима – святого. Христиане говорят: «Верой будет оправдан человек». «И только верой», – сказал Мартин Лютер, и от одной буковки и выросла новая религия. А шейх Сулей-

ман Чабдаров сказал: «Стеснительность и есть половина веры». Идите, счастливого вам пути, по дороге, которую вы сами и наметили. Но нужны новые пути и новые люди на новых дорогах. Скажите дочерям своим, пусть рождают людей стеснительных и людей, живущих трудом, — во имя. И какая длинная дорога не была б, такие люди ее осияют.

Дорога к лесу изъедена коровьими копытами и углубления заполнены темно-коричневой мочой. Дом на краю улочки огорожен высоким забором, сложенным из речных камней, виден лишь кусочек черепичной крыши, заросшей многолетним мхом. Затяжной спуск упирается у маленькой речонки, пробившей дорожку себе среди пластов голубой глины, хотя берега ее были цвета ядовито-зеленого из-за принесенного самой речкой хлама, обрубков бревен, кусков железа и шифера. Иду по грязи обильной — как посуху, меня греет азиатское солнце из детства моего, и маки горят, зажженные рукой случайной встречной. Я их прихватил из детства на всякий случай и вот сегодня украсил ими этот серенький день.

Я иду мимо грязи, среди цветов белых гор, и березовое небо покрывает голову мою. За речкой, на прибрежной поляне, паслись коровы. Они в едином порыве набрасывались на траву, шумно жуя, в едином порыве вдыхали и воздух, и траву, и в такт друг дружке выдыхали.

Дальше начинался лес, где листопад обильней и гуще. Пестрые от полых листьев террасы. Я обмер и похолодел. На одной террасе лежала белая корова в углублении, чуть пониже лежала еще одна, наверное, мать и дочь — уж больно похожи они были друг на дружку. Они не обратили на меня никакого внимания, хотя при виде человека они содрогаются. Они боятся не жестокости нашей, к коровам мы относимся вполне любезно, даже ласково. Они ужасаются тем грубым сферам, в которых мы пребываем. Коровы лежали расслабленные и сосредоточенные одновременно. Головы их были повернуты на запад. Третий день я прихожу на это место и третий день встречаю их с одинаковым выражением глаз и в одинаковых позах. И внизу стадо жевало, вдыхало и выдыхало. А белые коровы спокойно лежали и, глядя на запад, думали, думали не о смерти неминуемо предстоящей, а о жизни грядущей, такой желанной для них и совсем невидимой для меня.

Свет ударился о листья и, преломившись, пал на коров, и их глаза окрасились в небесно-синий цвет. Я, замороженный, смотрел в синеву их глаз и почувствовал отклик на их мо-

литву, льющуюся из тонких сфер небесных. Господи, не есть бы мяса, тогда легче б было смотреть в их глаза. Господи, я шел в этот день и в это место, шел, вынося из жизни остатки свои. Господи, я счастлив!

Счастье – это когда осень узнает тебя по остаткам твоим и одарит движимым и недвижимым имуществом – двумя белыми коровами, которых уж не убить, предварительно выпив их молоко.

И сказочный листопад, пролившись с деревьев на землю, приоткроет небеса, и рука человека, благословя, приблизит небеса те, в которых плещутся и нежатся в благодати тончайшие сферы.

Для счастья-то нужно всего: *Осень. Две коровы. Листопад.* Мимолетный взгляд незнакомой женщины и едва осязаемое прикосновение ладони ее.

Главное, чтобы был ты и чтобы тебя узнали. Пусть по остаткам твоим, но чтобы узнали. Бывает, приходит человек – ни царапинки, а его не узнают и не узнают больше никогда.

Не предавай себя. Предай мать свою и отца своего. Предай брата своего. Предай сестру свою. Предай Бога самого, если нейдет. И Боже, и близкие все милостивы, они простят. Не предавай себя, ибо прощать уж некого будет.

И руки женщин и взгляд синеглазых коров деликатно изливали свет свой, создавали свет общий, и стоял я среди этой благодати, долго стоял, стоял до полного безболия в груди.

**ИЗ
ЗАПИСНЫХ
КНИЖЕК**



Самая главная обязанность родителя – читать ребенку вслух хорошие и умные книги, пока он сам этому не научится. Самая главная... Вы его создали, вы его наполнили, чего же более? Разве что любви, как можно больше, чтобы было ему на что жить. Это и есть наследство, и дается оно вначале, а не в конце.

Литература кончается там, где начинаются заботы о себе.

Ничто так не старит, как заботы о себе, и ничто так не молодит, как думы о дальних.

Литература не служит государству, она его формирует, правда, мало кто об этом догадывается.

Если считать, что кровь служит человеку, тогда и литература служит государству.

Во сне к нам приходит Дон-Кихот, а днем мы живем с ветряными мельницами.

День решил все, кроме проблем Дон-Кихота, и завтрашний день с тревогой их поджидает, как будущие занозы свои.

Романтика – то, что нас держит, и то, что мы постоянно отвергаем и предаем.

Обездоленность – нет возможности поделиться.

Уменьшение количества поэтов в стране приводит к увеличению числа врагов. Сэкономишь на поэтах – разоришься на контрактниках.

Когда я слышу: медикаментозное лечение, то вижу много важных, но малосодержательных лиц и по ту сторону этих слов – одинокого Зощенко.

Трахман – это фамилия, намерения или жизненное кредо? Непонятно... один человек, а так все запутал.

Толстовское: «Не сойти бы с ума» – единственное, о чем стоило бы побеспокоиться.

В конечном счете все наши подаяния оказываются у богатых. Помогаем богатым, пытаюсь протащить верблюда сквозь игольное ушко.

Высокомерный человек – уже несчастен. Высокомерному народу – все это еще предстоит.

Самая большая роскошь – интеллигентность.

Воздух был плотен, как утоптанная дорога. Дышать было нечем, и идти никуда не хотелось.

Новое поколение – старее предыдущего, как и сын всегда старше отца своего.

Для меня литература заканчивается там, где ощущения перерастают в события.

Главное – осознать, что такого, как ты, не было и уже никогда не будет. Это чудо и реальность одновременно. А талант, положение, богатство – это все вторично. Осознание собственной исключительности – твой фундамент и основа всех живущих. И понимаешь, что рядом с тобой не простой, обыкновенный человек, а такое же уникальное создание, как и ты сам. И ты не среди сборища людей, непонятно для чего собравшихся, а ты с личностями, мучительно ищущими место свое и предназначение. И уже нет возможности возвыситься, обидеть, убить. Это все равно, что убить себя.

Стать таким, как все, невозможно, даже если тебе даруют бессмертие и ты эту вечность потратишь для достижения этой неосуществимой цели.

Попытка стать таким, как все, – долгое и мучительное самоубийство.

Редко какая мысль не порождает кровь.

Свобода – это защищенность. Защититься можно только верой в себя, как в образ и подобие Божие. Не уверовавший в себя, не верует и в Бога. Опорой той веры и будет Слово, подаренное Богом и взлелеянное тобой. В самый опасный момент

твоей жизни не будет тебе спасения: ни от людей живущих, ни от музыки, идущей извне, ни от картин, написанных кем-то. Спасет только Слово, затаившееся в тебе самом, и нет иного спасения. Спасения в дне коротком и в жизни долгой. Ни дети... ни деньги... ни армия... Если тебя пытается обидеть один – ты отстоишь себя. А если сотня... тысяча... Где столько денег, где столько сыновей, где та армия? Имеешь за душой хоть слово – ты непобедим. Свобода, вера, слово – это и составные, и суть спасения.

Я не слышал ни одного полнокровного диалога. И даже если это происходит, все равно – не диалог, а полифоничный монолог. Удивительно, и как это реальная глыба мировой литературы держится на несуществующем – диалоге.

Невозможно завоевать мир, не разрушив себя.

Мир завоеван, а человека-то нет. И кто будет жить в этом мире?

«Очистить» жизненное пространство – эту непосильную задачу для всех, бывших и нынешних, правителей легко решает маленький дождик.

Нет ничего миролюбивей цветов, но даже они в букете агрессивны.

Как много людей с незрелыми, продрогшими глазами – будто только что вышли со дна океана.

Протопоп Аввакум и Павка Корчагин – бьются вроде бы за одно – хорошее. И метод один – неистовство.

Но один пример того, как жить нельзя, другой – без чего и жить-то невозможно.

Один рушит и свое, и чужое, другой – отстаивает суть свою и сущность других.

Наследство – это то, что не поддается счету и не вмещается в дом, и даже в сознание.

Следы чужих сапожищ на первом снегу – будто путь к разгадке собственной судьбы моей и догадках: нет ничего чужого на свете этом – все твое.

Любовь – это подсказка истины.

Амстердам – это не только город, но и фамилия человека. И непонятно, то ли дед его был географом, то ли бабушка глобалисткой была, то ли мальчик и вправду там родился. Бывает хуже – рождается человек в Глухово, а это все равно, что потерять родителей.

Если общество выражается языком междометий, обрывками слов, жаргоном, – это не значит, что оно испортилось, просто людям некогда говорить, ибо готовятся они к большим переменам.

Рассказы Зощенко – плохо замаскированные бездны трагедий.

В рассказах Зощенко очень много людей, но нет ни одного человека, ни одного... А это по-настоящему страшно. Читаешь – будто слушаешь чью-то бесконечную игру на безнадежно расстроенном пианино.

У Хэмингуэя. Долгий подъем по утопанной снежной дороге, желтые отметины коровьей мочи на дороге той. Казалось бы, эти желтые признаки жизни должны бы уменьшить чувство одиночества, ведь если это коровий след, значит, рядом люди и одиночеству конец, но они, наоборот, усиливают ощущение одиночества и кажутся зримым воплощением самого одиночества, и одиночество то сплошняком, без просветов, желтое.

Слово – единственный свидетель, подтвердитель существования земли.

Россия – вечная борьба данного с привнесенным.

Спасение России – не создать, а услышать созданное.

«Черный квадрат»: и путь, и предупреждение, и конец пути.

«Черный квадрат» – это портрет Ельцина и Дудаева – творца и жертвы терроризма. «Черный квадрат» – это место, где когда-то рос «Вишневый сад». «Черный квадрат» – это все. Все, что было и что будет.

Когда балкарцу сделают что-то хорошее, он собирает угощение для своего благодетеля и узелок тот называет – нохтабау. А переводится это двояко: Путь к Ною и подношение для Ноя.

Сколько иронии и юмора в этом слове. И какова благодарность народная на добрый человеческий жест. Хороший человеческий поступок приравнивается к спасению от всемирного потопа. И без этого слова было бы скучнее и скуднее в ковчеге Ноя. Да оно просто там необходимо. Добро породило жизнестрепляющую благодарность, и все это спрессовалось в этом энергичном слове и открыло путь к спасению. Нохтабау – звучит, как не подлежащая сомнению, очень значимая, нестираемая печать.

Стихи Пастернака – это не только отпечаток души и времени, но и гулкое хранилище рецензий, святилище, сооруженное из метафор.

«Февраль. Набрать чернил и плакать» – все о Чехове.

«Мы были музыкой во льду» – это о Мандельштаме, Ахматовой, Цветаевой, Кулиеве, Блоке, Есенине, обо всех тех, кто страдал тогда, когда мы пели истерические песни. Стихи Пастернака – это ода и реквием по ним, ушедшим, и тем, кто должен прийти.

Нет ничего законченного, но Бог там, где не отличить движение от законченности.

Ужас – это когда можно все объяснить или встретить человека, состоящего из одних достоинств.

Повелевать или повиноваться?

У повелевающего нет тропинки даже, ведущей к Пути.

Пред повинующимся открыты все дороги, сливающиеся в Путь.

Стихи Кайсына Кулиева по форме совсем не похожи на арабские сказки. А как схожа их суть.

Яркие переливающиеся краски сказок как бы ослепляют взор наш, оберегая от сглаза очень нежную, ранимую необходимость. Стихи Кайсына, приглушая внешние тона, громоздя камень, маскируют бесценную суть, без которой человек – лишь оболочка.

Важна не смысловая нагрузка в тексте, а музыка самого слова, ибо музыка та и есть наивысший смысл.

Как легко мы расстаемся со значимым и из последних сил бьемся за никчемность.

В центре России шелестишь себе в березовом лесочке и чувствуешь, что ты есть. И речка тихая никуда не утечет – она останется здесь. И бабушке с козой деться некуда. Давнее и сегодняшнее соединено и устоялось.

Кавказ же – попытка оседлать скакуна, у которого иные, непонятные тебе задачи.

Громадины гор хрупки и все время вешают о разлуке. Реки: то ли их к морю несет, то ли в небо выстреливает. Отголоски великого переселения еще пузырятся в крови у живущих.

Человек – как продрогший кусочек мха, чудом прилепившийся к скользкому камню, и его вот-вот сметет серебряным фанатизмом потока, в ярости напоминающего о давнем-давнем, всеми забытом, до удивления необходимом, но помнимом лишь им самим. По равнинам несутся невидимые кони – несутся на встречу с тоскливой горечью горизонта. Закрою дверь своей фанерной дачи – и я в прошлом; открою – и весь в сиротской необжитости бурлящей.

Живешь – как в чужом саду и не поймешь: то ли яблоки есть, то ли опасаться хозяина. Господи, где тот дом, стоящий в настоящем?

Предки кого-то догоняли, от кого-то убегали – целый день в гонках, поесть некогда было, и ели уже при луне – за весь день. Ускакали кони, ушли те люди, забвение уравнило те победы и поражения, осталась лишь привычка – плотно поесть на ночь глядя, за весь день.

Никогда не седлал лошадей, сижу себе на диване, а натруженная от поводьев рука на бедре – будто ледоруб во льду.

Жест, как последняя зацепка на окраинах памяти, – исчезни он и заскользишь по беспомытству, как по льду, – от равнодушного до бессмысленного. Этот простенький жест, возможно, определяет более крупные мои поступки, я ничего не знаю об этой механике, догадываюсь и просто повинуюсь.

Небольшие силенки порождают гонор, отсутствие таковых – бессилие. Нет только самого главного: стабильного, здорового смирения, а значит, нет у тебя свидетеля, нет судьи делам твоим и помыслам.

Живешь, не отличая взлетов своих и падений. А совесть? Но она приходит лишь в момент смирения.

Смирение – не крест, раскрашенный кровавыми губами.

Не кисти муэдзина в полутьме.

Смирение – не хлеб вчерашний.

Не хлеб, о котором мечталось во сне.

Не взгляд мой осенний в продрогшем окне.

Не раскаленный посох, тлеющий в пыли.

Не ставни до земли.

Смирение, – когда в глазах старушек синееет целомудрие весны!

Вера – изначальное созвучие и ниспослание, то есть – данность, а не благоприобретение.

Павел не пришел к Богу, он к Нему вернулся.

Я жив потому, что не верю в события.

Детство – знакомое небо, жизнь – пересчет песчинок в горсти.

Детство – наивная в дрожкой просини мудрость.

Поэзия – смутные воспоминания о Боге.

Сильным не доверяют.

Жизнь – пребывание среди ненавистных аттракционов.

Моя 90-летняя мама приготовила хычины... я их съел, и только по прошествии многих лет... удивился.

Свет горит... и все хорошо, погасла маленькая лампочка... и вспомнил о маме.

Тщетность – Дон-Кихот, подающий грош «благополучию».

Самое большое несчастье для человека – родиться свободным.

Остановились часы... Как я их только не встряхивал – никакого результата. И только когда я в них вслушался, затаив дыхание, и стал мерно раскачивать под стук своего сердца... они пошли.

Во мне времена те, что были до меня, и те, которые будут после. Я могу проживать в любом из них, но мне никогда не выбрать время, в котором живу сейчас.

Бедные евреи, у них нет возможности остановиться.

Громоздкое произведение всегда заслоняют художественные «лесы».

Все великие произведения написаны внешне плохо, но они завораживают, будто чудо въяве. Слова в них не растягиваются в строку, а сматываются, сматываются в клубок, и ты уже не слышишь текста, а вслушиваешься в тайну, затаившуюся среди сплетения, в общем-то, обычных слов.

Помолюсь тополи, посоветуюсь с тополем и выйду с ним в день новый. И мне все дано, и все понятно. Уступлю ему дорогу или пройду с ним рядом в такт мерно дышащей тверди земной. Мне всего-то надо – не обогнать, а иначе заблужусь. Постою с ним у дома русского, около мазанки украинской и балкарской, полувросшей в землю, прислонившейся к белой опоре скал, и я увижу истинное лицо славянской и кавказской национальности. Тополь мой – странник и домосед, скромное обличье вкуса, ибо вкус и есть всепонимающая, всех понимающая, обиженная нами скромность. Спозарань помолюсь тополи, в полдень схожу с ним в гости к соседям своим, и в ночи услышу усталое дыхание умиротворенного бытия. И спросите меня: «Ты в порядке?» И я отвечу: «Я просто счастлив, я встретил тополь, дерево, так любящее людей и дороги, дерево – воплощенная надежда и зримый укор».

Рядом с домом моим: МВД, прокуратура, стоматология.

– Удочери меня.

– Твой возраст не позволяет.

– Ну тогда уматери.
(Телефонный диалог.)

Библия – сбор и художественная обработка чужой выстраданности.

Один из героев, в общем хорошего автора, плюнул в камин... и рухнули все художественные конструкции пишушего. Непонятно, как можно плюнуть в костер или речку – это все равно, что справить нужду, не выходя из дому, и не потому, что это невозможно, просто это краткое облегчение порождает смутный и долгий разлад с собой. Литература не вытекает из жизни – она создает жизнь иную, мало что общего имеющую с проживаемыми нами днями. Литература – это вкус яблока. Жизнь – поедание оного. Вещи очень и очень разные. Писатель – это милостыня, подавание народное, где каждый отщипнул от собственной души и духовности. Даже давным-давно ушедшие внесли лепту свою.

Об умершем: или хорошо, или ничего, – лишь пишущий ответственен даже в могиле.

Жизнь судорожный перебор шелухи... и маленькие шажки в сторону недосыгаемую – к абсолютному вкусу.

Мужчина выбирает не женщину, а «победу» над своим видимым или потенциальным соперником.

Последним посланником Божьим, вероятно, будет пришествие Абсолютного Вкуса.

И не будет ни слова, ни проповеди. Его молчаливое присутствие и будет и пониманием, и достаточностью для человека.

Борьба с терроризмом – как выкорчевка амброзии, чем глубже копаешь, тем шире она распространяется.

Этикет – привилегия малочисленных народов.

Ум не спасает даже одного, этикет сохраняет многих.

Покой – угомонить оболочку, натрудив суть.

Неимеющий клочка земли посмотрел на небо... – и обрел земную долю свою.

Улыбка человека – самый важный экзамен перед Богом, успешно сданный.

Очередное открытие верно, но оно неприемлемо, как и все предыдущие.

Литература – вечные световые вешки, нравственные отметины мироздания.

Построишь дом – время унесет его с домочадцами твоими и именем твоим.

Посадишь дерево – и оно растает во времени.

Скажешь слово – останешься.

Все, что сооружено плотью, – тленно.

Все, что натружено душой, – вечно.

Память – не сбор событий, это их отторжение.

Слово – это то, чего не услышал.

Слово – это то, о чем не сказал.

Все, чем был занят на этой земле, – хоронил себя.

Видит Бог, все силы свои приложил, но у меня ничего не получилось.

Без воли Всеединого и себя не убьешь.

На излете лет надо начинать все заново, отбросив при этом тщетную попытку свою.

Начинать сызнова с надеждой, что долгие годы, мною не прожитые, будут короче недели, подаренной Богом мне на житье.

Подарит ли?

Сын Божий – это не раз и навсегда воплощенная сущность, это бесконечная безымянность – неотъемлемое право каждого обрести имя свое. У сына Божьего нет и никогда не будет имени. Сын Божий – это стремление к имени. У нас пока нет имен – у нас лишь неудачные обозначения такового.

Неделимо дыханье Божье – Дух Святой, как неделимо творение Его – Сын Божий.

Живем прошлым, с настоящим боремся.
Но прошлое – это преодоленное сегодняшнее.
Значит, мы вообще не живем.

Я 50 лет провороботал.
(Из речи юбиляра.)

Маленькие внешние «успехи» вырастают из больших внутренних катастроф.

Я только тем и занят, что роняю себя и пытаюсь поднять оброненное.

Наличие детей и имущества – кратчайший путь к преждевременной старости.

Власть – это постройка личного комфортабельного тупика.

Музыка и поэзия изначально. Мы двигаемся не под созданную нами музыку, это она управляет нашими действиями.

Художественное воплощение – это не столько создать, сколько услышать.

В прозе же мы сами творцы и интерпретаторы.

Иногда в соавторстве с нами выступает бес, если ему интересна тема и выпала редкая свободная минутка.

Иисус – это запах твоей колыбели

Иисус – это мы, забывшие себя.

Иисус – это плач о первом встречном.

Форма прикрывает суть, преодоление видимого, то есть формы, – и есть смысл.

У труса в доме живет любовник его жены.

Здоровье, не поддержанное духовностью, – агрессия.

Желающий испытать сильную боль пусть обратится к женщине.

Самая большая редкость – человек верующий.

«Иванов», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры» – если все это объединить в одно, то все написанные и задуманные пьесы потеряли бы свой смысл. Здесь все интеллигенты, несколько десятков гамлетов и дон-кихотов, купцы, мещане ... И все куда-то хотят уехать, хотят, но не уезжают.

Люди Чехова хотят в Москву, Москва – как желание и подсознательный вопрос... и жесткий ответ – бегство из Москвы: «Карету мне, карету». Круг замкнулся – Москвы-то нет.

Уйти у Толстого, уйти у Карениной, уйти у Печорина, уйти – едва ли не главная идея русской литературы.

В эпизодах все мы похожи на Христа. Христос – это взгляд родного и совсем незнакомого человека, взгляд из юности.

Осень – зримый приход неизбежья.

Когда мне плохо, когда голова отказывается разбирать несурезицу, – я ищу окровавленного Христа.

К Христу только одна дорога, та, по которой он сам шел.

Страдание – это прояснение, понимание.

Боль – это недовольство собой, осознание собственной несостоятельности.

На этом свете есть все – нет только виноватых.

Вся вина земная уместается в одном человеке.

Не впасть в сферу сильных – кнут и пряник; не упасть в толчею слабых, во сне мечтающих о кнуте и прянике. Верить в чудо. Поиск эфемерной середины и есть чудо.

Тридцать три сребреника – самый дешевый референдум.

Не дай Бог жить в эпоху забвения литературы.

Расщепление атома – вырвать кусок хлеба у собственного ребенка.

Животные знают все иностранные языки.

Эльбрус Казбекович.

Совість – есть воспоминание о себе истинном когда-то.

«Для того чтобы с двух метров попасть в ворота, не надо быть мастером – нужно быть порядочным человеком».
(Высказывание спортивного деятеля.)

Врач: «Я вас выведу на чистую воду» (в смысле вылечу).
Больной в испуге: «За что?»

В больнице люди становятся лучше.

Шедевр – это краткость звука и бесконечье отзвука.

Интернационализм возвеличил Америку и погубил Россию.

Что для американца здорово, то для русского смерть.

Касын по-русски звучит глаже, по-балкарски – глубже.

Еще вчера кто-то, взглядевшись в тебя, мог участливо сказать: «Плохо выглядишь, заболел, что ли?»

Сегодня так много болезненных лиц, и никто понять не может, что это – недуг или естественное состояние?

Если ты плохо побрит – значит, собрался сдаться, если зарос щетиной – это уже свершилось.

Все знают, как работать, как отдыхать не знает никто.

Мужчины стали более жестокими и более беспомощными – одно связано с другим.

Родственник, как ветер, – слышать слышишь, а видеть не видишь.

Если я порядочный человек, то откуда у меня столько болезней?

Если можно пересказать написанное, – это журналистика.
Если суть не вмещается в пересказ, – это литература.

Родители хотят, но не умеют, дети умеют, но ленятся.
Виноваты дети. Виноват тот, кто живет сегодня.

Художник имеет дело с толпой, народ появляется после его ухода. Даже Христу не удалось опровергнуть эту аксиому.

Развитие – это когда ты в чреве, все что потом – деградация.

Я люблю скромных и стеснительных. К остальным я с недоумением присматриваюсь.

Догоняющий кого-то все дальше и дальше от себя... Гонка вспять.

Красота требует тяжелого труда, разруха – легких физических усилий.

Красота – это стыд за себя, а пребывать в вечном стыде невозможно, вот и закрываем глаза на нее.

Стержень человеческий – ощущение красоты или воспоминание о ней.

А огонь-то был выкраден, не выстрадан. И огонь тот спалил огромный кусок эволюции. Нью-Йорк в огне. Москва, Токио – огня много, а света все меньше и меньше. Раньше на ишаке через горные перевалы добирались до самого дальнего родственника, сейчас и на самолете не долетишь до ближайшего соседа.

Сначала неинтересны события, потом человек с делами своими, потом человек с душой своей... Остается, что Бог на душу положит, остается не так уж мало, остается только ждать... и Бог вернет трепет к душе иной.

Смотришь, человек и умный, и образованный, а не ушиблен жизнью – и все насмарку, все пресно, все бессолено. Хоть одень его, хоть раздень, хоть орденами обвешай, – все едино.

Тоталитаризм – государство монополизировало рабство.
Демократия – приватизированное меньшинством рабство.

Сознание наиболее ярко проявляется в детстве, когда разума и в помине нет. Сознание не просыпается, оно ниспосылается свыше. Сознание – сопричастность к знанию. На стыке человеческой сути и знания рождается разум. Разум – частичка, составляющая сознание.

Консерватизм – сердцевина опыта, либерализм – облако вокруг сердцевины, которое всегда рассеивается. Консерватизм и есть круги своя.

Человек сделал себе крылья для полета. Иван Грозный казнил его, сказав: «Человек не может летать». Я бы сказал: «Не надо бы ему летать». Полеты эти не приближают небо, а отдаляют его.

Сотканная из бесконечья неведомого, зыбкого, гармония – самое устойчивое из всех состояний.

Гомер так раскалил на земле слова, что богам на небесах жарко стало.

Они будут «мочить» их, а те – нас.

Как длинен путь до ближайшей банальности: «Нет Бога в человеке... и нет человека».

Чеченцы, заплатив за проезд, благодарили водителя маршрутки, и чувствовалось, они очень соскучились по этим словам. Им так долго хотелось сказать кому-нибудь: «Спасибо», а тут представилась такая возможность.

Я счастливый человек – ко мне Бог терпелив и люди снисходительны.

Скоропостижная демократия – из тотального единообразия вырвалось чесоточное разнообразие и тут же скомкалось в одинаковость.

У незнакомого я бы спросил: «Любите ли Вы кошек, нравятся ли Вам пьесы Чехова?»

«Москва, Мясницкая, 47, Комитет по правам человека». Я переписываю это, как цитату из Библии, Корана, Талмуда, и даже эти книги меркнут перед словами «Комитет по Правам Человека».

Критика – освоение художественных высот и пустот, не обжитых автором.

Державин и Пушкин – всплеск и излет русского оптимизма. Они не антагонисты, они единомышленники, Пришел Гоголь и накрыл «Шинелью» своей всю русскую литературу. Пришел Лермонтов, тьму покрыв мраком небесным. После них стало дурным тоном чем-либо восторгаться. Под гоголевской «Шинелью» благополучно существовало великое российское уныние. Отстраивались «Деревни» Григоровича, Бунина, некрасовские: Неелово, Горелово, Неурожайко. И завершилось строительство вселенской безысходностью Достоевского.

Да, была лирика Тургенева, Бунина, Пришвина, Паустовского, Айтматова, но и на ней лежала тень от гоголевской «Шинели». И только Грин и Гайдар попытались выбраться из этой тени и, как ни странно, это им удалось.

Мне неважно, чего я достиг, мне важно, что от меня осталось.

Если пошлость раздражает – это молодость, если она смешит – это старость.

Виноват – кто сильнее, прав – кто жалостливей.

У сытого хлеб подгорает.

Объявление по нальчикскому автовокзалу (диктор с милицейским акцентом): «Граждане пассажиры, нашедшие оставленные без присмотра сумки, чемоданы, а также подозрительных людей, обращаться в администрацию или в милицию».

Кровопотливая работа.

Запад – золушка, мечтающая стать принцессой.
Восток – принцесса, стремящаяся стать золушкой.

Власть – сиюминутные похороны завтрашних лет своих.

Совесть – воспоминание о первосути своей.

Краткость – минимум слов, максимум пространства.

Провинциализм – сужение пространства и души.

Цель победы – очевидцы триумфа, но если всех победить, то не останется свидетелей победы.

Читая Назыма Хикмета:
Если он не улыбнется...
Если ты не улыбнешься...
Если я не улыбнусь,
Как узнаем, что живем?

Удел бесов – ломать стебли, над корнями они не властны.

У убегающего – свет впереди, у догоняющего – тень от впереди бегущего.

Марика два милиционера выводят из здания суда. Я с приятелем иду им навстречу.

– Марик, что случилось?

– Да вот завтра свадьба моя, а сегодня дали 15 суток.

– Ничего – бодро сказал приятель, – что советский суд, что еврейская свадьба – присутствие не обязательно.

На балкарском базаре тьма продавцов, горы шерстяных изделий и редкие покупатели. Продавцы с тоской глядят на покупателей, им очень хочется поменяться местами. Две старушки бог весть в какую позарань вставшие, не одну корову подоившие, не одного ребенка снарядившие в школу, с высочайших высот выброшенные на равнину, стоявшие и стоявшие, потерявшие всякую надежду что-либо продать... Одной лет шестьдесят, другой поболее. Старшая плачет, и слезы ее белеют среди азиатских веснушек и красно-фиолетовых прожилок, надутых горным ветром.

– Что ты плачешь? – спросила та, что моложе.

– Соскучилась по своей матери, – с трудом выдохнула старуха.

Литература – это сопротивление внешнему.

Литература – это поддержка себя, то есть любого одинокого человека.

На барахолке пожившая, но еще жизнепышущая женщина в пальто и кроссовках, на голове подростковая замшевая кепочка, держа в руке ложку, говорит покупательнице: «Мельхиор – брат серебра, ну как адыги с кабардинцами».

Почему я пишу? Для того, чтобы поддержать себя. У Толстого спросили: «Писали бы Вы на необитаемом острове?»

«Не знаю, – ответил он. – На необитаемом острове я писал бы больше и лучше, и там у меня мог появиться шанс стать писателем».

Почему стараюсь писать только о хорошем? Даже если у меня есть что-то малое хорошее, а на ту малость десятков нехорошестей, – это малое, светясь, шагает впереди, а нехорошести, чернея, плетутся сзади.

Боролись с джазом – победил джаз. С буржуазным влиянием – оказались в самой гуще капитала. Борются с наркоманией, и чем яростней борьба, тем больше наркоманов. И только борьба за урожай приносила победу – урожай уменьшался.

«У Лукоморья дуб зеленый, / Златая цепь на дубе том, / И днем и ночью кот ученый / Все ходит по цепи кругом».

Школьный учитель-чукча так перевел эти стихи: «У берега, очертания которого похожи на изгиб лука, стоит зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт. На том дереве висит цепь из денежного металла, из того самого, из чего два зуба нашего директора. И днем и ночью вокруг этого дерева ходит животное, очень ловкое, это животное ученое и говорящее...»

Такой мощный сплав реального и сказочного, и я затрудняюсь сказать, что лучше – оригинал или перевод?

Мой отец-фронтовик говорил: «Не видел храбрее солдат, чем евреи и сибиряки». Жить в Сибири или быть евреем – уже мужество.

Любовь – это избавление.

Суть балкарского – незыблемый провидческий консерватизм.

Туман – светлое безвременье на земле. Это уход из прошлого, приподнятость над сегодняшним и предчувствие будущего.

Страна разделилась надвое: одни собираются срочно сесть, другие давным-давно готовы их встретить.

Жить плохо я уже научился, а если вдруг грянет незнакомая жизнь хорошая – она меня просто раздавит.

Когда я вру – я мертв, ибо это не я, и жизнь мою проживает кто-то другой.

Родился, да еще выжил – чудо. Улыбнулся, засмеялся – герой. И нет под землей столько золота, чтобы отлить каждому хоть по ордену.

Справедливость – то есть равновесие.

Своя жизнь любопытна, другие жизни трепетны, как собственное рождение.

У меня было несколько желаний в этой жизни: чтобы мои родители при мне не ругались, не резали собственноручно животных, не развелись в 15–16 лет моих. Все почти сбылось. И хочется уйти из этой жизни более-менее достойно. Осталось-то всего ничего.

Главное, не плодить рабов и самому не оказаться в рабстве, не участвовать – это и есть середина.

Рост прекращается с забвения детства.

Если бы не деньги – человечество давно бы вымерло.

Когда просыпается разум – исчезает истина.

Интеллигент – это отторжение того, что есть, во имя того, как должно быть. То, что вижу – не хочу, что хочу – того не вижу. Проще говоря – отторжение видимого во имя сущего.

Все наши беды в том, что словесный ряд мы заполняем не смыслом, а звуком. Не слышим, о чем говорим, оттого и не ведаем, что творим. Это как песни дельфина, обращенные к океану.

Ученый-филолог спросил у меня: «И каково резюме ваших произведений?»

И в его словах я увидел не только его беду, но и беду нашу общую. Ну, нет у литературы никакого резюме, что ты тут поделаешь – или резюме, или литература. Даже смерть не приемлет этого слова, что уж говорить о литературе и жизни самой. На свете всего-то только два слова: удивление и тайна – все остальное, производное от них.

Молитва – это не то, как ты сидишь на молитвенном коврике, а то, как ты идешь по дороге.

Если с людьми не получилось – любишь животных. Если не сложилось с животными – любишь природу. Если отторгла природа – собираешь марки. С любовью ну никак не разминуться!

Вера – когда в глазах торжество бытия над бытом.

Вера – удел молодых, молитва – повинность старых. И годы здесь совсем ни при чем.

Только молодой верит в жизнь вечную. Старый же вымалывает возможную жизнь грядущую.

Вера – это деликатность. А она присуща только интеллигенту. И неважно кто: крестьянин, рабочий, служащий, если ты интеллигент – значит, верующий.

У верующего жизнь произрастает из души, у неверующего – из разума.

Душа вмещает все варианты. Разум же просчитывает малую толику их.

Я думал, что собираю грибы в лесу, купаюсь в речке – казалось, я отдыхаю, отрешась от всех и всего, – оказалось, что я писал рассказ.

Неприятен не делающий добра, но трижды неприятен помнящий добро свое.

Время – это череда нелепостей, в сумме своей дающая закономерность.

Деньги – фактор, сдерживающий мощнее атомной бомбы. Кто кого козырней? Пока мы это выясняем – мы живем. Деньги – дающие возможность всем подольше прожить. Убери деньги, и все хлынут на всех и на каждого.

Не все ж как у людей, что-то должно быть по-человечески.

В Чечне родился гений, ибо в таких муках они и рождаются. Он уцелел после пьяных зачисток, он готовится прославить Россию.

Жалость вмещает в себя и молитву Божью, и жизнь земную.

Нарцисс – это не любование собой, это вслушивание в миг и бесконечье времени.

Жизнь: незаметно от Бога собирал я соломку и стелил под себя.

Беса надо гнать от колыбели, и лучшее кадило – Пушкин.

Сознание собственной исключительности – тяжкое бремя.

Осознание собственной исключительности – стержень всего художественного и научного.

Когда дремлет внутреннее, беснуется внешнее.

Покой и есть душевное напряжение, единственно реальное, перемалывающее внешнюю ирреальность.

Покой – это когда ты еще не успел забыть себя.

Красота – самый большой раздражитель для человека, ему бы потянуться к ней, так нет же, легче нагнуться за камнем, несмотря на боль в пояснице.

Почему красота спасет? За счет нее и живем. Кто ж не восхищается совершенством кошки? Кто ж не гладил закипающий от непонятных будней лоб дворняги? Кто в зной не обретал дыхание под тенью первого встречного дерева? «Красота спасет мир». Она и сейчас спасает, и живем-то мы за ее счет.

Красота – это то, чему мы всегда изменяем.

При красоте всегда стыд, который и пытается удержать тебя, неудержимого.

Стыд – это реакция красоты на тебя.

Раньше ярлык княжеств стоил. Сейчас прилип к пачке соли... Века и века, и сколько крови... и бумажки клочок на ящичке воблы. Грустно, как под долгим ливнем. Тяжко под временем переходя. А время, оно не идет, оно переходит, безучастно переступая через тебя.

Ты не умнее и никого не лучше, ты исключительнее.

Горе незнающему дороги, но трижды горе знающему и не идущему по Пути, ибо он ответственен и за себя, и за заплутавших среди уймы тропинок.

Близорукие деревья устали вглядываться в небо.

Американские инвестиции в Китай – это передел российских земель.

Наступает момент, когда сущность нации растворяется в ее количестве. Количество разжижает, почти уничтожает суть. Количество – национальное беспамяство.

Мой дедушка Узеир говорил: «Спасение – на вершине самой высокой горы. Взошел один – остался прежним. Втащил чью-то полуживую душу – спасся».

Мой отец Магомет говорил: «Если бы я каждый день ел арбузы, то я никогда бы не умер». Какая же большая поэзия (по сути своей) затаилась в этих простеньких словах.

Моя мама Балкбъыз говорила: «Пиши так, чтобы слово твое стоило хотя бы тени загубленного на бумагу дерева».

Моя сестра Мадина ничего не говорит, она «занята» культурой. Культура – ее профессия. А еще она живет с моей мамой.

Чудак – в глазах Божьих – человек нормальный. В глазах человеческих – недоразумение.

Глупость почти всегда пребывает неподалеку от героизма.

Терроризм – это когда трое бьют одного, а когда сотня бьет одного – терроризм государственный.

Терроризм – умственная, моральная, духовная импотенция власти.

Терроризм: я умру от избытка черной икры в организме, а ты умри от недостатка таковой.

Мой рыжий кот спал, растянувшись на кровати во всю длину. Он очень устал, нелегко родить льва, тигра и пантеру. Он отец семейства кошачьих. Маленькая мышка пила из его блюдечка молоко, попьет, умоется и опять попьет. Кот очень устал... Тяжело быть отцом, а отцом тигра, льва, пантеры – тем более.

О душе бы подумать... да времени не осталось.

Осень. Солнце. Черные машины – одна за одной. Боковые улицы перекрыты. Застыли пузатые гаишники – похудели враз и никак не могут отодрать рук от головы. Едет глава государства. И пахло холодом от власти, будто на дальних подступах к плахе.

Жалость к другим укорачивает собственный отрезок тьмы. Жалость к другим – приближение к свету собственному, ибо жалость и есть протечка света.

Урок чистописания, скрип перьев. Тишина. Учительница у осеннего окна. Святая. Дева Мария в первые мгновения без Христа. Утомленные от долгого ожидания людей дома. Простуженные деревья, покашливая, бредут вместе с грустной дорогой, бредут в поисках зимы. Первый день. Первый урок. На впервые увиденной мною Родине.

Христианству не всегда по пути с Христом. Христос – простой и необъятный путь, бесчестье дорог. Христианство – заасфальтированная, закрестованная по бокам дорога.

Моисей шел позади народа. Он заслонял собой дорогу назад, дабы оглянувшийся не увидел Египта, не сообразился бы сладким рабством и не ужаснулся бы бесконечья пути к свободе. А впереди шел самый старый еврей. Он еле-еле передвигал ноги, с трудом разлеплял иссиние-фиолетовые веки, изредка поглядывая на оранжевое беконечье песков бездонной, болотной поволокой глаз своих. Шел старец, сдерживая спешащих, он знал, что до свободы не добежишь, к ней надо идти медленно и долго, очень долго.

Боролись с терроризмом Пушкин и Моцарт. Боролись авторы великих книг «Букварь» и «Родная речь». Боролись и победили. Они буквально трудами своими сдерживали приход терроризма, ибо возможные террористы слушали их, не дышали... и веровали, и убивать у них не было времени, и во времени места для убийства безвинного и незнакомого не оставалось, ибо место то густо заселено было творцами.

Поэзия – попытка преодоления земного притяжения.

Поэзия – выпрыгнуть из обыденного. Выпрыгнул Пушкин из Михайловского. Кайсын из сакли чегемской. Есенин освободился от земного притяжения, не покидая Константиново. «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне».

Горький с болью шутил: «Хочешь быть свободным – стань полицейским. Хочешь быть абсолютно свободным – стань

тайным агентом». Количество «свободных» и «абсолютно свободных» в дни наши явно возросло. Свободы нет, а людьми «свободными» мир переполнен.

Только победивший несправедливость победит терроризм.

Сам себе заслоняю мир.

В России никогда не отменялось крепостное право, как и во всем остальном мире, ибо это невозможно. Крепостное право видоизменялось, меняло хозяев, и лишь холопство осталось неизменным. Холопство – есть и цель, и суть крепостного права. Как его не называй: капитализм, социализм.

Горький, сидя в тифлисской тюрьме, сказал надзирателю:

- А мы ж-то молимся богу еврейскому.
- Как еврейскому?, – подпрыгнул дородный человек.
- Кто был отец Христа? – спросил Горький.
- Еврей, – ответил серьезный человек.
- А кем была мать его, Мария?
- Еврейкой, – ответил надзиратель.
- А сам тогда кто он?
- Сие для меня тайна, – вздохнул охранник.

Есть притча. Был потоп, тонул человек. И послал ему Бог лодку. Человек сказал: «Я верю Богу и лодка мне не нужна». Тогда Бог прислал ему вертолет, и человек с верой в Бога отверг и это. Когда встретились на том свете, человек, обливаясь слезами, сказал: «Что ж ты, Боже, я так тебе верил». Бог недоуменно развел руками: «Когда ты тонул, я послал тебе лодку, ты отверг ее, тогда я прилетел на вертолете, что ж я еще мог сделать для тебя?».

Тот человек хоть тонул, ему простительно. А здесь Боже с утра раннего дает свет в дом твой, в твою постель. С трудом разлепляет синие веки твои, остужает дыханьем своим красные желтки глаз, где когда-то в голубизне плескались белки. И ты видишь в истрескавшемся окне красные лохмотья красоты и отталкиваешь великовозрастными пятками все и вся. И Боже смиренно уходит и, затаив дыхание, терпеливо ждет следующее утро... чтобы вновь вернуться к тебе...

Кавказ – это воспоминание, даже если ты тут не родился и впервые его видишь.

Бог – это беконечье терпения и терпимости.

Христос на белом коне – такая нелепость. Ослик – родство душ и выражение глаз.

История великих литератур – это жизнеописание чудаков. История больших чудаков – суть великих литератур.

Когда грузинские князья тонули в вине, а грузинские революционеры раздирали страну на части, Пиросмани пил вино и пытался склеить Грузию, рисуя вывески на кабаках. И ему удалось сохранить страну.

Когда балкарские лидеры пожирали друг друга без всякого вина и водки, Кязим в кузне своей выковывал образ балкарской сущности, и ему это удалось.

Один любил пирушки и женщин, другой работал и молился. Они шли разными дорогами – по пути единому. Такие непохожие, такие неразлучные близнецы, никогда друг друга не видевшие.

Толстой и Кязим... Один выстрадывал, выстраивал себя, и выстроил-таки. Кязим таким родился. Какие разные, а как похожи. Хоть и говорят: «В России главное – родиться», но надо в ней ухитриться вывернуться наизнанку, выжить. С прекрасными задатками рождаются многие, потом по жизни собирают себя по частям и редко кому это удается. А он бесстрашно прожил на такой высоте, а упади с такого верха – ничего бы не осталось, ничего. Потому-то и желающих пожить на такой высоте маловато. Вскарabкаться туда и не упасть – мало кому удавалось, а рожденных там и проживших – единицы. Кязим пока не стал героем большой литературы – равным прожитой жизни. Но есть память, а будет память – придет и человек, могущий показать нам эту великую простоту. Мы выстрадали такого гения.

Кязим: человек, интеллигент, рабочий, крестьянин, поэт, философ, теолог, воистину верующий, и все ипостаси равны. Такое вообще не встречается и даже не слышано и звучит, как сказка. А он жил, и был, и это чистейшая правда. Сравнить его с кем-то – невозможно. С чем-то – есть шанс. С травой, с горами – где родился, со степью – куда ушел. Со всем естест-

венным, приходящим, уходящим и возвращающимся. С подорожником, пробившим твердь дорожную. По дороге той, если посчастливится и до зубного скрежета поработается, собирая себя, – возможно, и нам удастся пройти. Такая простая, такая сложная, такая тяжкая, до слез умильных желанная, чужая, собственная жизнь, тобой не прожитая. Как тяжело... Как сложно... Как легко...

Сердцевина одиночества – вина. Вина и есть одиночество.

Суть творчества – совпадение боли твоей и очень-очень дальнего от тебя.

«Все возвращается на круги своя». И круги те – одиночество.

Совесьть – вчерашняя ошибка, переросшая в боль сегодняшнюю и с грустью поджидающая день завтрашний.

Совесьть – точное мерило пути и времени.

Совесьть – самая короткая дистанция меж Богом и тобой.

Измена – попытка забвения недостающей или истощенной духовности.

Джаз – разрушение привычного, звуки и отзвуки завтрашней разрухи.

Джаз – дробление сложившегося уклада.

Я не жажду любви, я страшусь измены.

Осень – как зримое забвение.

Если не поделился, то ничего в мире и не было. Во всяком случае, тебе не досталось. И жизнь – будто цветы в подарок себе.

Как долгие путь от весны до осени – вся жизнь. Как краткий путь меж весной и осенью, будто на излете нежданного смеха – ожидаемые слезы.

Живи с родителями, закрыв глаза, и не открывай их до самой смерти своей. Нет границы меж вами. Родители – незнакомцы. Мы знаем, что они подарили нам жизнь, и больше ничего о них мы не знаем. И с другом дружи, закрыв глаза. И закрыв глаза, люби жену свою. А если жена или друг переступили границу, ты почувствуешь и узнаешь о них больше любого зрячего. И любить, и дружить надо с закрытыми глазами. И любовь и дружба отвергают всматривающихся.

Боль – сердцевина осознания.

Днем я жил среди вековых конвульсий большого города. Я и сам был источником предпоследних колебаний. А ночью мне снилась предутренняя дрожь балкарской землянки. Ни свечи... ни лучины... Внешнего света не было, но свет был, и тьма едва-едва освещалась. И Иисус в большом дагестанском тазу мыл ноги апостолу. Остальные сидели в полутьме, замороженные зыбкой тайной. И серые тени замерли на черной стене. Святой человек, до крика одинокий, переполненный всеземными муками, мыл большие, натруженные ноги вновь нарождающимся людям. И я после праздного тяжкого дня, вмиг утерев груз плоти своей, ощутил любовь большую, цельную, любовь, еще не распавшуюся на людские доли. Была долгая, долгая, долгая ночь, самая долгая после дня Творения... И как отзвук пяти гвоздей – короткий день. Апостолы исчезли, толпа спала, чтобы послезавтра проснуться народом.

Чужое деяние ложится грехом на меня, и в самой середине неправды иной корчится моя большая вина.

«Я сегодня такая несчастная, еду вот, как лохушка, в маршrutке».

(Монолог юной современницы.)

Не падай, дабы не унижить наступивших на тебя.

Жизнь штука простая – удержать малое в себе, не растворив его в большом, что вовне.

Одиночество – это улитка с домиком на спине, собранном из тумана.

Стыд – переводчик с обыденного на Божье.

Писатель – переводчик с обыденного на истинный.

Насилие – кратчайший путь к самоистреблению.

Удивление ведет малыша к матери, а взрослого к Богу.

Удивление – приходом своим и уходом. Удивление – первым встречает и последним провожает.

Удивление – как пульс, прервалось – разминутся с жизнью.

Самое одинокое на свете белом – удивление.

Самое благодарное – удивление.

Самое отзывчивое – удивление.

Самое терпеливое – удивление.

Самое жизнерадостное – удивление.

Самое неожиданное – удивление.

Удивление, без усталости ждущее новых встреч.

Далеко ушедшего от себя первой навещает боль.

Плохой человек может написать гениально, но добрый рассказ ему не по силам.

Как долго идти, чтобы стать родными, и шаг всего, и даже взгляд, чтобы обернуться чужими.

Кайсын всех балкарцев называл *племянниками*, подразумевая под этим словом – «племя», «соплеменники».

Не могущий сломать баранью косточку пытается переломить человеку хребет.

«Матушка возьмет ведро, молча принесет воды». И ноют и ноют в голове моей эти слова: почему сам не пошел, почему судьбою своей, ни свет ни заря, погнал маму свою? Она-то находилась, намахалась в жизни своей до сини небесной в глазах. «Он с бодуна, идти не может», – подсказала знакомая. Наверное, он выпил – точно выпил, но дело не в этом. Просто человек устал, так устал, что даже воды ему не хочется – ничего не хочется. И среди обезлюдившей Руси, по усталому

утру, по рваным кочкам тумана, сквозь разуверовавшие деревья, мимо кричащих спозарань черных домишек шла она... На всей земле никого... Тишина... Лишь поскрипывает ведро в руке, Бог весть, куда и зачем идущей женщины.

Потерял дистанцию – потерял себя.

Старик-балкарец сказал: «Ушедший из дома своего и покинувший животных своих – достоин подаяния».

Каждый человек трагедия, но не каждая трагедия – шедевр.

Жалость – весы меж сутью и бытием.

Ощущение чужой беды освобождает от собственной боли.

Только жалость возвращает к себе и дает понимание ближнего.

Спасение – это жалость и ничего другого.

Жалость – расшифровка Божьего.

Не имеющий жалости – не имеет прощения.

Если жизнь испытание, то жалость – преодоление оно.

Жалость – это все.

На исходе одно лишь слово – жалко.

Человек все-таки получился – он жалостливый.

Человек столько пережил... и удивительно, мир не переполнен гениальными книгами, картинами так, чтоб человеку и ступить-то некуда было.

Из Христовой благодати люди вылепили бесконечную беду свою.

Он родился – это симфония, когда сам себя сделал – это катастрофа.

Предыдущее поколение испытывает эмоции, зарабатывая деньги, последующее – зарабатывает деньги, чтобы испытать эмоции.

Образование «помогает» оценить себя, литература – удивиться другому.

Не алгебра проверяет поэзию, а поэзия дает право на существование алгебры.

Алгебра – один плюс один, и человек один плюс или минус один. И только поэзия наполняет человека и звуком, и запахом, и движением. Поэзия проста, как позвоночник, и сложна, как привкус воздуха.

Поэзия и есть основа и воздух.

Павел не пришел к Богу, он к Нему вернулся.

Я жив потому, что не верю в события.

Детство – знакомое небо.

Жизнь – пересчет песчинок в горсти.

Детство – наивная, в дрожкой просини мудрость.

Сильным не доверяют.

Без комплексов – это езда без тормозов на высокой скорости, по биологичному, мимо сущностного.

В России есть единственный способ хоть как-то отблагодарить родивших тебя – застраховать жизнь и дойти до ближайшей подворотни.

Невнятный возраст – когда на старухе жениться неудобно, а на молодой – страшно.

Ни подтвердить, ни опровергнуть – это, когда тебя хвалят: подтвердить – нескромно, а опровергнуть – жалко.

Писателю никакой талант и не нужен, а нужна тонкая кожа и хороший вкус: кожа, чтобы чувствовать, а вкус, чтобы выбирать из прочувствованного необходимое.

Нет большего «несчастья», чем родиться свободным.

Идя по своей дороге – не видишь пути своего, потому и идешь по дороге чужой, чтобы виден был путь свой.

Я рад, что живу в богатой стране: пока им есть что украсть – я успею прожить. А если они, наевшись, удумают, разнообразия ради, повоспитывать, вот тогда – беда.

Ни свет – ни заря: лужи, сугробы вдоль дорог и реки на дорогах. Идет по всему этому дама аж с двумя дворняжками. Навстречу ей дама, совсем без собак.

Одеты, будто ограбили все секондхэнды и хеденшолдерсы. И собаки, как бывшие секьюрити этих магазинов. Дамы – чистейшие промоутеры, а может быть, даже дилеры, да как бы не сами – дистрибьютеры, прости Господи. В общем, такой был ремейк, что мало не покажется. Постмодернизм живьем.

Та, что с живым имуществом, будто в чистом поле, звонко кричит:

– Привет! Как жизнь? Как семья?

– Ни жизни, ни семьи! – бодро отвечает обездоленная на собак.

– Хорошее начало! – итожит дама с двумя собаками, донельзя грязными, но довольными, как две дамы вместе.

Россия. Ни свет – ни заря. Лужи, сугробы, полноводные реки на дорогах и не понять: то ли к лету дело, то ли вот-вот приморозит. И почему-то тепло на душе. И жаль незнакомого, сидящего у моря, на какой-нибудь австралийской лужайке. И радостно осознавать, как неизлечимо больна Россия неистребимым вдохновенным детством.

От еще одной жизни я бы отказался: иную жизнь прожить – неинтересно, а повторить свою – страшно.

Если в словах нет духа Офелии – нет произведения и, по большому счету, не о чем говорить.

Дорога к Богу – это ступеньки, сложенные из очень простых истин. Трудность в том, что, исполнив одно и забыв про другое, – надо начинать свой путь сызнова.

Как я обращусь к Богу, если не умею здороваться с людьми?

Как мало места на земле занимает человек, а уйдет, то всем видимым не заполнить пустоту, оставшуюся после него.

Время приходит со своими людьми – тогда кто-то же должен жить во времени своем. Таких не было и нет.

Жизнь – это хоть какая-то общность человека и времени. А если у времени своя дорога, а у человека тропинка своя, то это – все, что угодно, но никак не жизнь.

Во времени чужом не потерять бы свое. Во времени чужом – ищущее свое. Во времени чужом – не растворить бы свое. Во времени чужом – живу в своем!

Я иду в школу. Я учусь здороваться с людьми, если я не умею здороваться с людьми, то как я обращусь к Богу? Ибо слово наше доходит до Него только через другого. И чем дальше от тебя человек, тем короче путь твоего слова к Нему. Бог услышит, если ты обратишься и сам, но слово наше обретает смысл, только пройдя через другого. И если беда другого становится бедой твоей, ты можешь говорить с Богом без посредников, и нет меж вами преграды. Трепещи от умиления при виде встречного – это лучше, чем трястись после водки, выпитой в одиночестве.

Незнакомый, я думаю о тебе, я верую в тебя, помолись и ты за меня, один я так далек от Бога, а вдвоем – мы рядом с Ним.

Нет большей высоты, чем жалость. И только с этой вершины и видна истина.

Если ты выбрал задворки сцены, не считай себя второстепенным героем – это главное, это главнее всех главных героев.

Неважно, кого ты встретишь в пути, а важно, каким ты ступил за порог. Ты встретишь того, каким ты вышел из дома.

Одним лезвием я бреюсь один раз, другим – бесчисленно, а они из одного металла, из одной упаковки. Одни чайники всплывают, другие тонут, а они из одной земли, с одного куста. Оттого, как ты сложишь собственные атомы, будет зависеть и твое место в пространстве. Мы бессильны перед смертью, но властны над своим бессмертием.

Свет и есть сожженный собственный мрак, все остальное – подсветка.

Политика – это не ожидание и даже не опережение, а выстраивание факта.

Благодать емче и обширнее страдания. Страдание я могу поднять, вместить в себя и нести. Благодать, рожденная от перемолотых мною страданий, не умещается во мне. Она, как и человек, живет в пространстве, шири и среди других, и предназначена другим. Мое, предназначенное тебе, и твое – сработанное для меня. Наверное, это главное наше предназначение – жить, добывая благодать другим из выстраданности своей. Настоящая жизнь и есть обмен благодатями.

Футбол превратился из борьбы интеллектов в битву туш, в войну за место у денежной кормушки. Нарушено само понятие – слово «игра». Вытоптана эстетика, а с нею и красота. Раньше игрок как бы говорил игроку: «Если ты такой умный, то обыграй меня». Сейчас он ему говорит: «Хоть ты и умный, я тебя снесу». Между футболом и регби – никакой разницы, разве что мяч другой и мастерство борцов в регби повыше.

Ну невозможно быть одиноким, когда в кармане деньги.

Страшен не грех, а страшно, когда не оставляешь выхода из него. Из греха может вызволить только тот, на ком согрешил.

А если ты успел убить его? Кто ж тогда спасет тебя?

В мире все прекрасно, кроме вида из собственного окошка.

Если ты умный, то почему такой богатый? Вот это ближе к истине. Христос изгнал их из храма, а они возьми и построй самый надежный, единственно действующий собственный храм – храм Меркурия. Оплот антихристианства периода первого Пришествия, и первые обломки Пришествия второго. Наверное, очень интересно быть личным врагом Христа.

Если на всем белом свете остался еще человек, которого не жалко, – значит, произведение еще не созрело. И это не поэзия,

а в равной мере – физика и физиология, значит, душа не набрала того ресурса, из чего можно хоть что-то построить.

Идущий – печален, едущий – весел, хотя идущий должен исходить от восторга, а едущий – тонуть в слезах гремучих. Все с ног на голову. И Создатель, глядя на наши пятки, ничего понять не может.

Перед Богом можно оправдаться, если не был комсомольцем, – коммунист же будет остановлен еще на дальних подступах.

Врач – своей подруге врачу:

– Вчера меня залило – домой не зайти.

– Не зря мне два врача снились, а это не к добру.

Ну, как клоун может насмешить маленького ребенка – он же страшный.

(Из разговора двух родителей.)

Чтобы оправдать хлеб свой, я работаю весь день. Чтобы оправдать жизнь свою – пятнадцать минут за письменным столом.

Коэзль – разговор о духовном без участия собственной души.

Не спрашивай биографию у бегущего тушить твой дом.

Родители ушли, оставив взамен долгое, неизбывное раскаяние мое.

Я мечтаю найти портфель с деньгами. Боже, не дай возможности встретиться с этим портфелем, а иначе, как я найду потом себя?

Секрет молодости – не подличать, не подхалимничать, не завидовать. Довольствоваться тем, что Бог послал. Мало есть и много страдать, но страдать так, чтобы с ног не сносило, но сердце держало на волне жалости.

Нет ничего более горького и более прозорливого, чем миг обиды детской.

Я с любовью и трепетом протираю машину свою, если бы с матери своей так же бережно сдувал бы пылинки – она никогда бы не умерла.

Что вне одиночества, то и вне творчества.

Пограничье меж жизнью и проживанием – стыд.

Неважны родители, неважны братья и сестры, неважен Боже – важно, чтобы тебе стыдно не было. Когда тебя покидает это чувство, ты остаешься без родителей, без братьев, без сестер и без Бога самого.

Жизнь, как боулинг, – вытолкнуть как можно больше людей из жизненного пространства.

Невозможно убить кого-то, предварительно не убив себя.

Весь-то смысл – найти родню вне крови своей.

Суть всех несправедливостей – доказать другому, что у него нет выбора.

Боже дал человеку главное – право выбора, как право на жизнь истинную. И человек жизнь посвящает тому, как бы лишить себя этого права.

Материально обеспеченный и благополучный – понятия крайне противоположные.

Ответственность за себя – самая важная и самая трудная задача, стоящая перед человеком.

Деградация – это то, что вне справедливости.

Твое отношение к хорошей литературе – лучший диагноз здоровья твоего.

Нет большего греха, чем пользоваться беспомощностью ближнего и дальнего.

Огромный рекламный щит у магазина и надпись – «Немец-

кий подход к окнам». Сразу вспомнилась Зоя Космодемьянская, и подумалось: наверное, окна закидают гранатами или, на худой конец, подпалят огнеметами.

Еврей делает свою работу так, будто за ним наблюдают будущие его потомки.

Богатство – когда не мучает совесть.

Счастье, когда не обделен ты хлебом, любовью и свободой. Когда хлеба в меру и безмерно любви и свободы.

Карачаевцы похожи на испанцев; балкарцы – на португальцев.

Вера – это восторженное безмолвие, когда ты так переполнен, что не враз и выдохнуть, не то что слово молвить. Вера – это не слово на языке, а надпись на лбу.

Конец света приходит к нам ежедневно... присматривается, чтобы в один из дней задержаться подольше.

В торговле – чем лучше выглядит товар, тем дороже ему цена. У людей – все наоборот, чем дороже выглядит человек, тем дешевле он стоит.

Достоевский очень точный писатель. У князя Мышкина любимое животное – ослик. Как это точно логически, и что еще более важно – художнически.

Вкус – не на кончике языка, а на потной спине.

Ответственность за женщину, как ответственность матери твоей за рождение твое.

Чем дальше от лопаты, тем дальше до Бога.

У Чехова много свободного пространства, там зреют ощущения, плещутся ощущения, и из всего этого и создается пластика ощущений.

Человек может иметь все, кроме настоящего.

Любовь – это мгновенное избавление от накопившейся многолетней корысти.

Россия напряженно молчит в предчувствии завтрашнего своего ренессанса.

Раскованность радует тело. Напряженность полнит душу.

Зло – бессмысленно. Добро – невозможно.

Когда кесарю не по плечу кесарево – он пытается взвалить на себя Божье.

Идти – чтобы найти. Найти – остановиться. Остановиться – потерять.

Решение проблем не в самих проблемах, а в отношении к ним.

Государство держится мощью букваря – силой оружия оно лишь поддерживается.

Репетиция собственного падения – подтолкнуть падающего.

Художество – это приумножение недостающего и отторжение неподобающего.

Самое страшное – Божий подарок, тобой не оправданный.

Одно хорошее дело, сделанное для другого, гораздо выгоднее сотен дел, сотворенных для себя.

«Будьте, как дети» – в переводе на общедоступный означает: цени и береги перводанность именную свою, подаренную Богом самим, цени и береги и не меняй ее ни на какие коврижки земные, ни на манну, обильно ниспосланную тебе небесами самими.

Важны свершения твои, но важнее непоколебимая вера – вера в нужность свою. Нет ничего ценнее Божьего автографа, что в тебе, и где Слово, всего одно, – Нужен.

Степень деградации угнетателя равна количеству страданий угнетаемого.

Радость – когда пытаешься заслужить уважение к себе. И счастье – когда иной раз это случается.

Одна лишь ноша не тянет – когда на плече ангел-хранитель твой.

Благополучие и богатство – крайне противоположные сущности.

Нет ничего неожиданней и разнообразней хамства.

Миром правит тьмократия. Она сеет то, что имеет, – тьму. И правит тем, что возшло из тьмы той.

Нужен прочный дом, заселенный хорошими людьми, могущими родить, воспитать и вырастить добро. Зло же, как вирус, – любое пристанище – дом родной.

Добро в трудах и муках утверждается. Злу достаточно лишь распуститься.

Найди себя – все остальное само найдется.

Жизнь без художественного – это пребывание подо льдом, при наличии жабр и отсутствии малейшего представления о существовании проруби.

Писатель и есть – подающий надежды.

Чтобы спастись от мира – построй собственный мир. Пусть это будет: времянка, сарай, развалюха, четыре столба по углам пустыря – будет за что ухватиться и устоять. Прежде чем построить дом, построй мир свой, ибо дом не меньше мира, и без мира своего – ты бездомен.

Кто-то прячется за семью, кого-то прикрывает государство, и только маргинал лично отвечает за свои поступки. Маргинал – единственно действующее лицо, остальные имитируют действия. Система – синоним действия. И никакая

система не может действовать без маргинального стержня, потому-то и правит миром маргинальность.

Вера – это гармония собственного «я» и тончайших небесных посланий, предназначенных конкретно тебе.

Без собственного стержня вера недостижима.

Говори о делах своих хороших, ибо слово твое дороже дела твоего. Поступком своим ты поможешь одному, словом своим – подвигнешь на доброе многих.

Не думай о здоровье – ты не властен над ним. Беспокойся о душе своей, и она позаботится о здоровье твоём.

Афоризм – это очевидность, превращенная в мудрость.

Проблема не терпит одиночества.

Писатель – это благотворительность, и никак не самоутверждение. Если все наоборот – значит, речь не о писателе.

Вера – не дом из глыб, который ты выстроил в поте лица своего. Вера – это полет снежинок и осознание их, как самой большой ценности в жизни твоей. Поднять и пронести по жизни прикосновение этой невесомости – тяжелей сотен камней, осиленных тобой.

Искренность – синоним движения и жизни самой.

Пробуя «Императорский чай», «Королевское подсолнечное масло», невольно думаешь: «А не так уж сладко жилось королям и императорам».

Одиночество – уменьшение внешнего и возрастание внутреннего. Одиночество – не отказ от поиска, а усиление его. Чем больше одиночество, тем интенсивней и всеохватней поиск.

Не подкрепленное нравственным, любое величайшее открытие – это движение назад или по кругу. Только нравственное двигает вперед, а безнравственное – это модернизация ушедшего, не более.

Нет выхода только из предопределенности и предназначения.

Далекий от поэзии – далек от веры.

Непричиненное зло – считай полученным добром.

Человеку даны проблемы только для того, чтобы он меньше замечал недостатки других.

Чем больше недостатков я выявляю у другого, тем больше проблем появляется у меня самого.

Раб – это внутренне согласившийся с несправедливостью. Но трижды раб – приучающий других к несправедливости.

В конце жизни понимаешь, как ты недооценивал комедии, отдавая предпочтение трагедиям.

Комедия страшна по сути своей.

Раб – по принуждению раб. Рабовладелец – раб по призванию.

Все беды от неверно выбранной дистанции меж тобой и другими. Беда – и есть неверно выбранная дистанция.

Меж тобой и другими должно быть полшага, чтобы ты успел помочь кому-то и не опоздал вернуться к себе.

Время – это череда нелепостей, в сумме дающая закономерность.

Чем старей проблема – тем неординарней выход из нее.

Чем порядочней человек, тем больше у него шансов расширить свой кругозор. Он меньше засорен, оттого и более вместителен.

Больше недоделок у того, кто делал себя сам.

Реализовать себя не так уж трудно. Не потерять себя – значительно труднее.

Я не знаю, что такое ум, но, когда я вижу пожилую пару, бережно ведущую друг дружку по жизни, я начинаю догадываться, что это такое.

Не вернувший деньги – должник перед людьми. Не вернувший любовь – должник перед Богом.

Если я окажусь виновным, Господи, не обездоль меня, не пронеси мимо кару твою. На земле так и не научились карать – уничтожают человека, а вина остается. Удостоенный кары Твоей остается, чтобы изжить вину свою.

Ничего более несчастного, чем балкарский чиновник, мне в жизни не встречалось.

Я разлучился бы с одиночеством, но я безграмотен. Мне и в вечность не осилить тех знаний, чтобы осень разделить на двоих.

На исходе лета в лесу созрели орехи. И я их собрал. На излете осени, в палой листве, я вновь нашел орех. Не я первый собрал плоды. И после меня кто-то найдет сужденное ему. И подумалось: «Как справедлив этот мир – никто не знает, кто в нем первый, а кто последний». И стоял я в недоумении посреди осени с орехом в руке, а она, такая плавная, без взлетов и падений растекалась по округе, подтверждая справедливость, царящую в природе.

Поэзия – это поиск настоящего и охрана его от мнимого.

Ходили женщины в фуфайках, сейчас разгуливают в трусах и маечках – и то было не так и это не слава Богу. Мечется женщина в миру, а место себе найти не может, да и вряд ли найдет, ибо мир соткан из сути мужской. Вот и выходит – она у Бога падчерица и у людей – сирота.

Из леса вышел старенький тощий мужичок с маленьким рюкзачком на спине. Он шел по улице маленького поселка у леса, шел, едва поднимая громадные резиновые сапоги, приобретенные по вечной привычке своей – на вырост.

– Коля, как дела? – прозвучал за его спиной звонкий старушечий голос. Коля, подпрыгнув задорным воробышком, лихо развернул тело свое на зов.

– А что Коля? Не хреново Коля живет. Суп из шампиньонов пьет да орешками с медом заедает и почти все – не покупное.

У старухи восхищенно, врасстяжку вырвалось:

– Ишь ты!

А Коля, развернув плечики, бодро зашагал по главной и единственной улице поселка, уверенный – что-что, а Бог, по крайней мере, накормит. А мне подумалось: ну где, за какие деньги, в каких Америках, в церквях каких и мечетях встречу я такого вот Колю, непоколебимо и просто несущего живую веру свою.

Шел хорохор Коля мимо приземистых бараков, мимо лянлых от времени дощатых курятников, шел по ушедшей, невидимой глазу России, шел, неся в тщедушном тельце своем то, без чего Россия давно б уже рухнула. И, глядя ему вслед, мне почудился запах древних лесов дремучих и утренний дух славянский, исходящий от далекой и давней коры липовой. И стало на душе у меня поспокойней, а в мире – понадежней.

Вечные ценности незыблемы, меняются лишь формы отношений к ним, ошибочно воспринимаемые как смена самих ценностей.

Если Господь подарил тебе мир личный – радуйся и считай его домом своим. И богатство твое зависит от количества любви и степени искренности в доме твоём, а сохранность имущества – от крепости законов твоих и их правильности. А сумма и лад этих составных и есть качество жизни твоей, веры твоей и творчества. Загляни в себя, если не увидишь там дома своего и имущества в нем, – ты нищий. Неимущий – вне творчества и вне веры. И напрасно жарить лакумы и раздавать конфеты. Выйди в чистое поле и до слез кровавых моли Бога, чтобы Он послал тебе дом и имущество в нем. Это единственный случай, когда стоит помолиться, ибо ты обретешь все необходимое и просить будет нечего.

Сидящего Бог гонит из дома. Бегущего возвращает домой, сея в нас преодоление, из которого и рождается движение.

Выше правды – только родные.

Недостатки – это необходимость, требующая не отторжения, а трепетного контроля.

Гармоничный человек тот, чьи недостатки не выпирают из его достоинств, и достоинства не возвышаются над недостатками.

Не получая по полгода зарплату, я был самым счастливым человеком на свете. Мне думалось: самая богатая страна – мой должник, это же здорово!

Нет ничего наиглавнейшего в мире, где главное – все.

Чтобы ощутить комфорт в организме и гармонию с окружающими, работай, как инвалид, и ешь, как шахтер. И напрягай интеллект, дабы не перепутать эти два пункта.

Как тоскливо у реки, несущей одиночество многих.

Я дружу с собаками, чтобы узнать, как они умудряются любить нас.

Не подгоняй себя. Не трогай внутреннее. Поищи неполадки вовне. Верь в себя и терпи. И твое само найдет тебя.

Инструкция

для начинающих экологических мародеров всех возрастов, конфессий и партий

Безбожникам и мракобесам не стоит портить и без того плохое зрение. Если вы самого Бога не разглядели, то и в этой бесценной инструкции ничего не увидите.

Войдя в лес, вы кидаетесь на поиски всяческих даров – это самая большая ваша ошибка. Вообразите: лес – это не наследство от отца вашего и не подарок дяди родного – у него есть хозяин. Походите по лесу и найдете деревья, чьи кроны примыкают друг к дружке. Это очень похоже на храм – только красивее. И обратитесь, глядя в кроны лесные: «Боже, можно я часть запасов твоих перенесу в дом свой? А что в дом не помещу, расстелю в честь тебя коврами во дворе своем. Все ведь дом Твой, и все мы в доме Твоём». И голос при этом должен быть ласковый-ласковый, такой ласковый, что говори вы так с матушкой своей – она бы никогда не умерла. И если в вас нет подхалимских способностей, представьте, что вы не к Богу обращаетесь, а к самому Президенту. Или вспом-

ните массовые мастер-классы, вспомните, как встречают Президента страны, республики, я уж не говорю о президенте компании. Вспомните – и у вас все получится. И тогда Боже распахнет все сусеки свои. И уйдете вы с дарами, которые унести сможете. Удачи вам в лесу, ибо страна не накопит, да она и не собирается этого делать. Так что инструкции этой на ваш век хватит, еще и потомки попользуются.

Старость может впасть в дряхлость и тлен. А может стать более высокой ступенью в развитии. Все в руках человека. Если он раб тела своего, значит, выбрал дряхлость. Если он охранник души своей, то он спутник вечного движения.

Люди, выражающие суть, аромат, неповторимость поколения, – ярко цветут и быстро опадают. Мало что выразившие выживают и безболезненно перетекают в новое время, в привычном качестве статистов. Они не влияют на время, они его сопровождают.

Недостатки твои – защитники достоинств твоих.

Недостатки и достоинства – равноценные составляющие человека. Достоинства не дают нам впасть в невозвратный грех. Недостатки не позволяют добродетели перерасти в гордыню.

Милостыня приходит к тебе, когда ты подал ее другому. И нет на свете иных путей к ней.

Помогая другому, ты возвращаешь здоровье свое. И нет на свете белом лучшего лекарства.

Чтобы понять другого, подумай о собственных грехах.

Отдавай так, будто только что сам получил. И забудь об отданном. И помни о приобретенном.

У добра нет памяти.

Недостаткам человека просторно на обломках собственного мира. Достоинствам и в бесконечном тесно.

Беды человека можно подсчитать на обломках его собственного мира. Счастье его не поддается измерениям.

Чем дальше ты от дележа, тем больше у тебя свободы.

Количество свободы измеряется твоей долей участия в общем сумасшествии.

Чем меньше себе позволяешь, тем более ты свободен.

Разнузданность – кратчайший путь к рабству.

Свобода – это расставлять запретные кирпичики на бесчисленных дорогах, ведущих не туда.

Если ты достоин слова, то оно придет само.

У человека должны быть понятия. Он и состоит-то из них. Я не хотел бы знаться со сказавшим: «У меня нет никаких понятий».

Лишь пеший видел Мекки лик. Лишь босой ощущал дыхание Бога.

Даже мысль неадекватна – мы ждем от нее результата, а она задает нам вопросы.

Строя большой дом, подумай, а есть ли в тебе столько тепла, чтобы обогреть его?

В большом доме дольше ищешь самого себя.

Мы спрашиваем у Интернета о жизни текущей, а она твердит о необходимости жизни иной.

У зла тьма вариантов, но тьма бесцветна.
Нет выбора добру, стоящему у белой стенки.
И за душой на чисто-белом лишь краски все
И света все оттенки.

Совесьть – это не отклик, а смысл.

Мы образ и подобие Божие, ибо Господь доверил нам ответить на вопрос: «Бессмертна ли душа?»

Бог, душа, одиночество, незнакомый – это то, что может быть твоим и ничего кроме.

Одиночество – это Божья страховка твоей же души.

Боже различает людей только по их душам.

День – как битва за сохранность души своей.

Охраняя душу свою – ты под присмотром самого Бога.

Душа и есть цена твоя в вечности.

Голова лишь для того, чтобы охранять душу.

Иди за душой – она определит дорогу. Слушай совесть, и она приведет по дороге той.

Величина благополучия твоего зависит от состояния души твоей.

Живи по солнцу и все у тебя будет.

Радуйся наличию людей и большего от них не жди.

Можно стать актером второго плана, но нельзя быть второстепенным артистом.

Живущий обречен на человечность, у проживающего есть уйма вариантов.

Тайна и удивление – два корневых, сущностных слова.

Признание тайны и удивление ею приводит к познанию.

Вслед за признанием идет зависть, ведя за собой клевету.

Критик может ошибаться – это исправимо. У критика может быть плохой вкус – это фатально.

Можно выковать меч и поразить врагов своих – можно купить добрую книгу и изменить ситуацию.

Мы – балкарцы – счастливый, по большому счету, народ; мы имели солнечного человека – Кайсына и святого Кязима. Один нес свет, другой святость – воистину щедрое вознаграждение Божье за страдание человеческое.

Политика – это попытка доказать, что ты родился в двух местах одновременно.

Легко болен. Лежу в больнице. Все обходительны и заботливы. Многочисленные родственники толпятся в дверях, перегруженные деликатесами. Жизнь налаживается. И впервые не посещает мысль о смерти. Более того, хочется жить и жить. Вкусивши жизни хорошей, стремительно заражаюсь оптимизмом и верой. Нет, Бог все-таки существует.

Настоящий мужчина это тот, кто не мешает женщине быть настоящей женщиной.

Обездоленность части населения неизбежно перерастает в беззаконие для всех.

Беда, когда родился в воровской стране, да еще и вырос без Пушкина.

Дай все блага земные сироте и этого будет мало – так велики потери его.

Часть любви, предназначенная сироте, принадлежит тебе, и ты в долгу неоплатном пред ним.

Хорошему и в голову не придет унижить. У плохого – такое не выходит из головы.

Политика – это не идти вровень и даже не опережать событие, политика – это конструирование и создание факта.

«Вот если мы наденем на нее эту кофточку, то она будет актуальной женщиной». (Монолог женщины-модельера.)

Хоровое пение – когда в многоголосье многих слышна молитва одного.

Поющие в хоре, как никто в этом мире, близки к Богу.

Лишь проблема не бывает одинокой.

Аввакум – это Мусоргский в слове.

Из совестливого неистовства Аввакума выросла великая русская литература.

Гоголь – израненная, но уцелевшая суть Аввакумова.

Царское Село – где роскошь не выглядит вычурностью, а становится необходимостью.

Люди делятся на две категории – ядовитых и неядовитых.

Нормальный человек пытается исправить, улучшить себя, ненормальный – достать другого.

Душа должна болеть.

Если не болит душа – значит, болен ты.

Возрождение гораздо труднее самого рождения.

Дом нельзя достроить, у Бога самого дом все еще строится.

С увеличением желудка увеличивается и лицо, но уменьшается лик.

На тот свет можно взять солому – итог выращенного душой и сжатого духом. И стелить ее под ноги, чтобы легче ступалось на неведомых дорогах вечности.

Обрастай большим числом мелких врагов и расти. Нет лучшего стимула устремленности к свету, чем сгущающийся мрак вокруг тебя. Таких врагов нет возможности не возлюбить.

Чем больше света, тем гуще мрак вокруг него.

Цветаева – это светлый Вагнер.

Стихи – это догадки об истинном.

Стихи – когда среди безнадежья рождается надежда.

Поэзия – вечная война за свет вокруг живущих. И главное, за маленький нетленный уголечек, что горит внутри тебя. И поэт – первый на переднем крае той войны.

Самая большая беда – отсутствие вкуса, все остальные результат этой обездоленности.

При отсутствии вкуса можно легко попутать деяния Божьи с проказами беса.

«От тайги до британских морей» – эта строчка войну родила. «Вставай, страна огромная» – эти слова победили войну.

Все поэты умирают от удушья.

В мире много умных книг, но жизнь умнее. В мире мало добрых книг, но они добрее жизни самой.

У каждого свой крест, но мало у кого венчик из роз, ибо этот венчик тяжелее любого креста, кроме Христова. Красоту нести тяжелее, чем волочь за собой бедолажность.

Гамлет – бунт по эпизоду. Офелия – молчание о сущем.

Для сущего не придумали слов.

Лишь к одиночеству приходит сущность молчаливая. Ее не встретить рядом с говорящим.

Офелия и Блок – единая сущность в женском и мужском воплощении.

Офелия и Блок укутывались одними и теми же туманами и пользовались одними и теми же духами, сделанными из утренней росы.

Блок и Офелия жили лишь ожиданием встречи друг с другом в вечности.

Офелия – земное воплощение Божьей Матери.

Не шел Христос с матросами, – это Блок в белом венчике из роз шел сквозь матросов и сквозь Петербург.

Если хочешь принести Богу жертву – избавься хоть от одного недостатка, это больше сотни жертвенных баранов. Бог, создавший все и всех, не любит крови. Бедному отдай деньгами и ему решать – резать ли барана, или попытаться улучшиться.

Большой человек на то и большой, чтобы из маленького человека сделать большого. А маленький на то и маленький, чтобы большое превратить в маленькое. И каждый решает сам – быть ему большим или оставаться маленьким.

Большим быть легко – нужна всего лишь доброжелательность, маленьким стать труднее – нужно собрать все пакости свои воедино для борьбы с большим. Большое не станет маленьким, ибо оно под Божьим присмотром. Маленькое не станет большим, ибо оно под опекой беса. Трудно быть маленьким, ибо пакости, собранные воедино, долго не распадаются – им хорошо вместе.

Бес не может создавать большое, он может только множить мелкое. Бес – лишен созидания.

Маленький может начать расти, но это уж после тяжкого Божьего труда и милости Божьей.

Маленький поставил кривой фундамент, возвел стену и крышу. Но чтобы дом стоял, нужно разобрать его и установить нормальный фундамент. Что-то я не видел такого. Легче сгоряча убившему, осознанно укравшему, утопающему в наркотиках вернуться, нежели человеку, возведшему пакость в средство для жития своего и считающего, что пакость и есть ценность, вновь начать расти, как все и всё на белом свете.

Не пиши, если не слышна музыка – придет мелодия и она все напишет.

Реклама: «Автобусный парк обслуживает экскурсии, свадьбы, похороны и т.д.».

Интересно, что обслуживать после похорон? Наверное, маршрут до ближайшей реинкарнации.

Велика заслуга бесов, ибо они все время тебя гонят и гонят всегда в сторону Бога, остальных дорог не оставляя.

Без уважения к себе – нет любви ни к Богу, ни к человеку.

Задавай побольше вопросов себе, чтобы поменьше у тебя спрашивали другие.

Интеллигент – человек, лишенный права выбора. Интеллигент – человек с врожденным чувством выбора.

Бессмертна лишь та душа, к которой человек относился, как к наивысшей ценности. Она вечна и неделима, ибо не из атомов состоит, а из части Божественной сущи.

Мы бессильны пред смертью, но мы властны над бессмертием.

Ты должен быть интересен ангелу-хранителю своему. От этого и будет зависеть целостность твоя.

Бог ценит тебя на столько, на сколько ты ценишь душу свою.

Если скажут, что я плохой писатель, – соглашусь, если скажут, что я плохой читатель – обижусь.

Если ты можешь обойтись без врагов – это не значит, что и они могут обойтись без тебя.

Ты должен быть интересен Богу – иначе Он может и не заметить тебя, или что еще хуже – принять за ошибку свою.

Наличие вкуса помогает тебе сделать главный выбор – с Богом ли ты, или можешь обойтись и без Него.

Бес и тот работает, и главная работа его – вырезать кресты и полумесяцы из картона.

Власть должна быть посланницей совестливой элиты.

Лишь душа основа и гарант здоровья.

Если хочешь избавиться от Божьей опеки – забудь душу свою.

Для творчества важна не сама свобода, а поиск ее.

Творчество и есть преодоление преград, враждебных сущности твоей.

Свобода и есть первейший враг творчества.

Пекло. Мама ведет под уздцы лошадь. Вслед за ней – отец, весь мокрый от пота, пошатываясь, идет за плугом. Следом я – по колено в борозде. Голову печет, а ноги в прохладе. И от прохлады земной и теплой лазури, стекающей с небес, чувствую единство свое и с небом, и с землей, и с родителями своими. Иду по борозде и чувствую и одинокость свою, и единство свое со всеми и со всем. И обволакивает такое чувство свободы и правильности шагов моих. И чувство это я старался выветрить, чтоб полегче жилось, да так и не выветрил.

То, что идет от земли – не распадаемо. Свобода – это единство земли, родителей, родивших тебя, и неба, что искупало тебя в нежнейшей лазури. И в этот миг мне показалось, что в самой земле больше смысла, чем на ее поверхности.

Папа Иоанн Павел II стал святым, слушая музыку Шопена.

Жалоба – зашифрованная молитва, обращенная к чиновнику.

Литература требует от тебя жизнь твою и нет у литературы иной цены. И нет гарантии, что у тебя будет свое местечко в этом бесконечьи духовном. Литература может расплатиться и графоманским гонораром.

Оглядываясь на ненадежного соседа, ты никогда не дойдешь до цели своей.

Вначале обрети соседа. Потом построй дом. И тогда можешь определить и цель свою.

Престижно то, что не перечит совести.

Самое страшное – каждый из живущих может оправдаться перед Богом. Нет вины – нет и покаяния, нет покаяния – нет и смысла.

Зачем мне долгие страдания за такие короткие ночи.
(Женская жалоба.)

Иногда, обращаясь к человеку, мы задаем ему, как нам кажется, простые вопросы, ответы на которые знает лишь Бог. Когда злимся, говорим: «Кто ты такой?» Хотим завязать разговор, спрашиваем: «Куда ты идешь?» Если б человек знал ответы на эти вопросы – жизнь бы закончилась.

Музыка – это отголоски истины.

Еврей делает свою работу так, будто за ним смотрят все будущие его потомки и ушедшие давным-давно предки.

Россия – страна, много говорящая о грехах, но у которой нет времени на покаяние.

Америка – страна, не определившая, что такое грех.

Еврей может все, ему не дано лишь одно – идти по жизни налегке.

Тяжела ноша еврея, он несет на себе многовековые наслоения чужой и чуждой сущности.

Нельзя стать писателем обладателю двух непоправимых бед – плохого вкуса и «сердечной недостаточности».

Поэзия – предмет первой необходимости.

Царское Село – это незыблемость состояния округа и чрезвычайная ее подвижность одновременно, то есть – Божье.

Здоровье надо заработать, впрочем, как и все остальное.

Уходя в «люди», попросишься с человеком, вряд ли ты к нему вернешься.

Уходят в океаны – возвращаются.

Уходят в горы – возвращаются.

Уходят в «люди» – и так мало вернувшихся.

Путь, определенный человеку, – в одну жизнь не преодолеть.

Человек не чувствует смерти – он знает о своем бессмертии.

Отсюда и поговорка – «Умирать – умирай, но хлебушко сей».

Без душевной развитости невозможна свобода, да что там свобода, невозможен Бог. Пренебрежение частью Божьего – душой – отдаляет от понимания целого – самого Бога.

Свобода и есть сужение внешнего и увеличение внутреннего.

Без порядка свободы не бывает.

Чем дальше мы живем, тем приглушенной звуку тонких сфер.

Язык нам дан в обмен на полное сиротство в мироздании.

Бог слышен лишь в полной тишине.

Когда говорит человек – молчит в недоумении Бог.

Шопена может услышать лишь человек, делающий первые шаги свои, и человек – перед последним шагом своим.

Животные молчат не потому, что нечего сказать – им некогда говорить, они улавливают и стараются попасть в ритм переменчивых течений мироздания.

Националист, вместо того чтобы нести в себе все лучшее из прошлого, сам остается в прошлом.

Преодоление перерастает в познание, а познание дает развитие.

«Верой может быть оправдан человек», – говорят католики. «И только верой», – сказал Лютер и обрел бессмертие.

«Стеснительность – половина веры», – молвил Чабдаров Сулейман. Сказал – будто на краеугольном камне всех верований высек слова свои. Такое не всякий апостол скажет. Это слова Божьи, ниспосланные лично ему.

Такое может молвить лишь человек, много думавший о Боге и в трудах тяжелых заработавший их. Только придерживаясь этих откровений, народ балкарский и может возродиться и стать интересным себе и народам другим. И элита балкарская может взрасти только из слов этих и, придерживаясь их, решить проблемы измороженного народа своего.

Да, это трудно, очень трудно, но другого пути нет у нас.

Лишенный стыда – лишен и веры.

Скромность – единственный путь к Богу.

Быть глупым – жизнь не позволяет. Быть умным – люди не дают.

Мусоргский видел то, что зрело в недрах «Вечного покоя» Левитана.

Не прийти к красоте, переступив через уродливое.

Заносчивость обратно пропорциональна интеллекту.

Вставай до солнца и живи по солнцу, и в закате растворятся все проблемы твои.

Жизнь: не изведавший не поймет, а изведавший не поверит.

Даже родившие тебя по ходу жизни пытаются исправить свою оплошность.

Старость – надоело быть молодым.

Платонов вырос из «Деревни» Бунина.

У прозы два магистральных пути: расширять пространство – «Сто лет одиночества», и насыщать пространство – «Осень патриарха». И еще – сужать пространство – «Полковнику никто не пишет». И еще множество дорог и тропинок.

Обогащай, развращай и правь – суть «дикой, воровской» демократии.

Раскованность – усвоение знаний.

Скромность – постижение истины.

О времени своем поведай, а нравы сами о себе расскажут.

Я и мы

Человек взял камень и нацарапал на стене бизона. Одновременно родились звук и цвет, потом архитектура, и рука была властна над ними, и тогда человек в восторге сказал: «Я». И было слово последним, и были в этом коротком слове и звук, и цвет, и архитектура. Человек рисовал одержимо, рождались новые фигурки, новые звуки и цвета, появились зрители и сказали: «Мы». Мы – как хлопок мышеловки, попытка сузить все, что было открыто, и стали мы, *мы – мычать*.

Имеющие будут иметь, неимеющие не будут иметь, и отнимет Бог у них последнее.

Евангелие

У имеющего в душе радостно и грустно, и имеющий дорожит тем, что имеет, старается приумножить богатства свои и приумножает их (как в банке – крупная сумма дает хороший процент).

У неимеющего пусто, несколько атомов балансирует на проволоке, создавая дискомфорт, и неимуший с радостью от них избавляется, становится как бы устойчивей, прибивается к берегу (звериному). Имущих мало, и они, как в вакууме, и бесконечный бой между имущими и неимущими, и нет в бою

том ни пощады, ни милосердия, имущие бьются в одиночку, неимущие поразительно солидарны, но они никогда не победят, ибо, даже побеждая, они ничего не приобретают и приобрести не могут.

Тыква

Тыква пустила отростки, и расползлись они по огороду в поисках опоры. Один из отростков напоролся на малиновый стебель, фыркнул, развернулся и пополз в сторону огромного пня, обнял его и умиротворенно выдохнул.

Слепая мышь

Раннее солнце окрасило грушу в красный цвет, на самой макушке дерева сидела слепая мышь и, поддерживая передними лапками громадную грушу, не спеша ее поедала. Будь у меня хоть четыре глаза, спелее груши я бы не сыскал. На красном дереве розовела мышь слепая и поедала желтую грушу. И рухнул реалистичный день. Господи, воистину нет для Тебя незрячих.

Караульный любви – любви глашатай

Если я когда и встречал настоящего мужчину, так это мой петух Базилио. Насыплю ему зерна: кушай, Базя, тебе крепнуть надо – ведь ты защитник. Возмущенно ворчит на меня Базя и зовет кур на трапезу. Снесёт ли кура яйцо – Базя бегаёт около, надрывается до хрипоты, сопереживая нелегкой доле своей подруги. И на небо поглядывает, и землю объять успеваёт, и на объятия не скуп. Кричит, надрывается Базя, а мы смотрим на часы – пора на работу: кто землю копать, кто бумагу мариновать. А Базя каждый час нам без усталости долдонит: люди, торопитесь любить, – а мы поглядываем на часы... Мы в поисках любви, а Базя – живёт в любви, да и нас без усталости к ней призывает. Да вот беда – понять мы его никак не можем.

Жить стоит не потому, что написан «Дон-Кихот», а потому, что он понят, значит, есть же где-то люди.

Искусство – это не как мы живём, а как могли и должны бы.

Опыт не есть познание бытия, опыт – перебор внутренних струн.

Четырехлетняя девочка, глядя на яблоки в саду: «Ого, сколько компоту висит».

В метро холод от мраморных плит, людей много, а чувство, будто ты один ранним морозным утром стоишь в поле.

Счастливые слегка пошлы.

К сожалению, борьба не Марксова выдумка, это врожденное, и это тупик.

Продавец на рынке продает апельсины и, глядя на его лицо, я не верю, что где-то есть Испания.

Последняя тщетная и смешная попытка – выкарабкаться, опираясь на матриархат. Бабы не вывезут.

Все течет, но ведь ничего не вытекает. Значит, ничего и не меняется. Меняется форма, суть та же.

Вся жизнь человека – преодоление, сопротивление. На саму жизнь времени не остается.

Чтобы жить, надо уклоняться от жизни.

Реальность абсурдна – абсурд реалистичен.

Шутка

Пока дойдешь к соседу, дети состарятся.

Вьетнамская пословица

Прежде чем идти к соседу, постарайся к себе прийти. Прежде чем идти к соседу, неспешно постой на пороге. Пока дойдешь к соседу, твои дети умрут, умрешь и ты в дороге.

Все – от рождения, даже опыт. Живя, мы ничего не приобретаем, мы боремся, чтобы не потерять. Книжки, наверное,

пишутся не потому, что научился у жизни и хочется о своем знании поведать другим, просто наступает момент, когда опыт извне вызывает раздражение у опыта врожденного, вот и борются два опыта. Чем ярче и сильнее опыт изначальный, тем яростнее борьба.

Тиран и народ так же взаимосвязаны, как мать и сын.

Иностранная кровь как-то глушит, наверное, генетическую память. А может, она вносит хаос?

Беден, кто ничего не взял из детства. Ему не на что жить, и никто не подаст, и никакие клады не спасут.

Хорошо, когда у чаши есть дно.

О великих и сказать-то вслух не можешь.

Если рвется связь меж поколениями, то она рвется и внутри поколения.

Хороший человек не захочет унижить, плохой – не сможет. Плохому подвластна лишь боль.

Группа лиц по предварительному сговору... Это о бесах.

Одиноким бес – это ближе к раскаянию, нежели к пакости.

Склонен к побегу... Ну не к заточению ж ему быть склонным.

Бомж – не беда другого, Божье испытание, ниспосланное тебе.

У человека единственная задача – попытаться завоевать уважение к самому себе.

Драгоценности приобретают лишь в детстве, а когда они теряют цену и смысл, – их продают взрослым.

В глубокой яме врагов не ищут.

С приобретением языка мы осиротели в мироздании.

Язык заглушает доступ к тонким сферам.

Прожить без поэзии – это и есть безвыходное состояние.

Зрячий видит ширь, а слепой – суть.

Нас угнетали не сильно – угнетали до степени понимания поэзии.

Пятидесятые годы двадцатого века – единственное «бабье лето» русской истории.

Петербург – город, уходящий от людей.

Умеющий писать, писателем не станет. У неумеющего есть шанс.

Ищи в себе, а то, что ты ищешь вовне, – само найдется

Тепло в тебе накапливается, когда болит душа и много работает тело.

Боясь – ищем Бога, при этом боимся потерять беса.

Сказав сыну своему: «Ты самый лучший и нравы в доме нашем наилучшие», – ты закладываешь в ребенка сто будущих бед его. Сказав: «Нет лучше соседа нашего», – ты предотвращаешь тысячу несчастий его.

Если бы воскрес Христос – для многих жизнь потеряла бы малейший смысл.

Есть только один выход – поэзия.

Дороги не для того, чтобы обрести, – дороги для того, чтобы показать потери твои.

Вера – созвучие твое с благодатью Божьей, ниспосланной лично тебе.

Молитва угрюмого не имеет смысла.

Богатство – это то, что другим у тебя не отнять.

Нельзя иметь больше того, что дано.

С праведными мыслями и без ног достигнешь цели, с несправедливыми и на коне не доскачешь.

С хорошим человеком и на пустыре найдешь, с плохим и дома потеряешь.

Лишь пороки, снятые с чужого плеча, оказываются впору.

Если ты не историк – есть шанс сказать правду.

Из всех дорог выбирай лишь ту, на которой не потерять себя.

Нет ничего интересней собственной судьбы.

У меня нет вопросов к прошлому. Да и прошлому нечем ответить мне. Лишь выкрик из детства вслед ушедшему: «А что это было?» Я даже не знаю, кому предназначаются эти слова. То ли мне, то ли Богу, то ли еще кому-то. Ответа нет. И скорее всего не будет.

Расстояние – это не то, что преодолел, а то, что осмыслил.

В безвкусно подобранной бижутерии твоей избранницы отражается будущая нелепая жизнь твоя.

Национализм – попытка зачеркнуть собственную жизнь, суть свою и утратить уникальную национальную особенность. И некоторым людям и целым народам удается воплотить эту «сверхзадачу» в жизнь.

Интеллигенция – это защитная оболочка человека и сообщества людского. Тонкий слой этот и лечит, и помогает расти, и защищает от разрухи.

И все империи, страны и народы гибли только по одной причине – они, накопив критическую массу зла, пожирали свой же защитный слой, загнивали и уходили в забвение.

Большевики рухнули не в 90-х годах XX века. Они умерли в тот миг, когда пароход, наполненный отборнейшей интеллигенцией, отчалил от берегов России. Слой свой защитный

вконец добились в 30-х и 40-х годах XX века – остальное было агонией.

Интеллигенция и сама может разрушить любые сообщества, когда, смиряясь, прославляя и кормясь из рук неправды, перестает быть интеллигенцией.

Оттого, как мы выстроим свои атомы в этой жизни, будет зависеть наше место в вечном пространстве.

Гонка за престижем заканчивается несвободой.

Кому мало что дано – тот безуспешно пытается урвать многое.

Невозможно преодолевать и любить одновременно. Преодоление поглощает все время, на любовь остается или ничего, или очень мало. Не преодолеешь – и нет тебя, и любить уже некого. Преодолеешь – но это будешь уже не ты. И любить уже некого.

Маленькая девочка больше всего боялась цыган, она говорила: «Убить не убьют, но в цыганку переоденут». Детский страх сформулировал суть взаимоотношений меж обществом и человеком, меж человеком и государством. «Убить не убьют, но в цыганку переоденут».

Слава Богу, не всех. Всех не переоденут. И если останется хоть один не переодетый, то и труды их тщетны будут.

Не вглядывайся в человека, закрой глаза и, слыша его голос, прислушивайся к себе, и ты увидишь, кто он такой.

Чтение – это не освоение чужого, а пробуждение и развитие своего.

Миниатюра зарождается в большом отрезке времени, желательно тяжело тобой прожитом. Зреет в один из дней. И в миг единый выжимается день тот, до полного безводья, чтобы из выжимки той родилось всего несколько слов, да и то без всякой гарантии, что они удались.

Умный для преодоления многочисленных грехов тратит гораздо больше, чем для обретения низшей формы святости, именуемой порядочностью.

Порядочный человек живет дольше, он не тратит время на пакости.

Если бы воскрес Христос, то в христианстве он обнаружил бы много всего, но мало самого себя.

Христос – автор самоучителя «Как стать человеком». Христианство – сказочное действо, не всегда происходящее рядом с человеком.

Если бы у Христа был один друг, а не двенадцать апостолов, то мы бы понимали его гораздо лучше.

Муза не приходит с песней своей, она является, чтобы разбудить песню твою.

Для того чтобы изменить мир, надо просто хорошо относиться к женщинам.

От самочувствия женщины зависит состояние мира.

Поэт – это вслушивающийся в сущее, и он должен быть слепым и безумным, ибо сущность не раскрывается перед «умным» и «зорким».

Романтика – гармония души и совести.

Смерть мужчины вызывает скорбь, смерть женщины – недоумение.

В ожидании больше смысла, чем во встрече.

Добрый – значит, умный.

Идя в люди, не забудь обратную дорогу к человеку.

Боже не людей плодил, а *создавал* человека.

Спасаются не люди – спасается человек. И Христос – самый убедительный пример тому.

Трудно выбиться в люди, но гораздо труднее вырваться оттуда и вновь стать человеком.

Не переступайте ту грань, где кончается человек и начинаются люди.

Христос – это не сын Божий, а человек, ставший сыном Бога.

Разум без эстетики бывает агрессивным. У буддистов разум и эстетика плавно шествуют рядышком, и это вызывает умиление, и умиление порождает доверие.

Юмор – это недовольство, высказанное в чуждой для себя манере.

Белорусы – основа и незапятнанная суть славянства.

Не видел никого более интеллигентного, нежели белорус.

Если вы хотите узнать в каком состоянии душа ваша – хоть раз в году приезжайте в Белоруссию и взгляните в глаза первому встречному белорусу, и вы въявь увидите самочувствие свое.

Если нелады в душе моей и не в том ритме бьется сердце мое и ждать помощи неоткуда и не от кого – предо мной встает белорус и наивными все понимающими глазами вглядывается в меня – будто заплаканное детство мое, из трепетной, уже изрядно поблекшей сини, со всей укоризной, на которое способно лишь детство, смотрит на меня, как на незнакомого, смотрит, как на изменника, смотрит, приостанавливая дальнейшее падение мое.

Нельзя описать испанца, ибо он в воздухе, а если опустить его на землю – он перестает быть испанцем.

Белорус, одевшись во все новое и красивое, – не забудет накинуть на себя что-нибудь серенькое, неброское, постаревшее, – а вдруг у встречного нет возможности хорошо одеваться.

Если бы я не был балкарцем, то хотел бы родиться белорусом или киргизом.

Белорус – это скромность и смирение, текущее в крови и царствующее в быту.

Можно стать интеллектуалом, можно – вождем, можно кем угодно, но нельзя стать интеллигентом – какой-нибудь составляющей не хватит.

Интеллигент – это Божий дар под Божьим присмотром.

Конец света наступит тогда, когда собьют с пути истинного последнего белоруса, ибо не на кого будет ориентироваться, да и хвататься не за что будет. Надо срочно объявить весь белорусский народ достоянием человечества и последним оплотом человечности.

Только при наличии духовности в здоровом теле может быть здоровый дух.

Если нет в тебе нового смысла, неповторимая интонация должна быть. «Вот и я», – говорит Доронина. Всего два слова, а попробуй повтори.

Несуразность лучше всего проявляется на фоне истинного.

Все неудачи и беды человека, народа, страны происходят из-за несостоявшихся покаяний.

Крах народа начинается не с потери языка, (можно объясняться и с помощью жестов), а с согласия на рабство.

Ничье имя не выше правды, но без светлого имени нет правды вообще.

Единственный способ стать великим и святым – относиться к людям, как и к детям своим – детям больным.

В аду нет ни сковородок, ни огня; убийцам – нет возможности убить, а сострадательным – некого пожалеть. Все примитивно и просто, оттого и страшно.

Собаки чушь не несут, они терпеливо ее выслушивают.

Долго всматривайся в обездоленных, всматривайся до тех пор, пока Боже, сжалившись над тобой, во спасение твое, не покажет собственную убогость твою.

Государство не знает цены твоей, и общество не знает цены твоей. Лишь в глазах обездоленного увидишь истинную цену свою.

Горец – это география, перерастающая в суть, и суть та состоит из трех слов: терпение, терпение, терпение. И люди, взрослые среди этих слов, ждут, что из терпения того родится что-то очень и очень долговечно-светлое.

Боже жестче наказывает за плохое отношение к себе, нежели к другим, ибо из первого возрастает второе.

Чтобы узнать, какие люди живут в незнакомой местности, не надо ходить по улицам, разглядывать дома, расспрашивать прохожих – зайдите в магазин, купите хлеб, и по запаху его и качеству вы все поймете о людях и узнаете, как они относятся к жизни своей и как жить собираются, и что вам ждать от них.

Не я призываю совесть свою – это она окликает меня.

Ничего на этом свете мне не принадлежит – и даже то, что во мне, и даже то, из чего я состою.

Сердце живет по своим законам, разум – по своим.

Одни рождаются под знаком человека, другие под созвездием людей.

Разменять себя на пятаки – это и есть «уйти в люди».

Если уходит надежда, после нее всегда остается не точка, а многоточие, и многоточие то неподвластно человеку, оно всегда в руках Божьих. Боже и есть бесконечное многоточие.

В Питере каждая улочка – отдельный город.

В литературе цена всегда выше результата.

Реальность для того и существует, чтобы внушить тебе, что ты хуже, чем есть на самом деле. Реальность – первейший враг истинно реального.

Наша жизнь – изнанка сущего.

Настоящее мы не проживаем, а преобразовываем в прошлое, потому-то и нет настоящего, а есть прошлое и будущее.

Разминувшись с добродетелью, неминуемо сталкиваешься со злом.

Свет и есть преодоленный собственный мрак.

Дайте завоевателям возможность подольше вас завоевывать, для того, чтобы соседние народы разглядели их лицо.

Душа – это Божий свидетель, пребывающий в нас и записывающий дела наши и мысли. И на том свете к нам вопросов не будет.

Правда не в слове, а в интонации.

Отсутствие вкуса – изначально бед.

Красота – лишь часть труда.

В Испании невозможен Достоевский, как в России немислим Сервантес. А без этих двух составляющих нет полноценного человека. Глобализм хорош лишь в искусстве.

Такая тоска в испанском зное, какая бывает лишь бабьим летом на Кавказе.

Самое страшное – каждый из живущих может оправдаться перед Богом.

Нет вины – нет и покаяния, нет покаяния – нет и смысла.

В художественном больше правды, чем в реальном, ибо художественное – осмысленное и прочувствованное, а реальное – всего лишь увиденное.

Начиная войну, не интересуйся силой врага, а узнай, как к тебе относятся соседние народы.

Не было свободы и жизни не было. Пришла голодная свобода... и жизнь сожрала.

Он думал о женщинах возвышенно, потому и не пользовался у них успехом.

Козэль – китч, рядящийся в интеллектуальные одеяния.

Важно, что сказали другие о тебе, но еще важнее, что сказал ты самому себе.

Мы всегда в разладе с душой своей – в молодости она кажется слишком взрослой и мы не откликаемся на зов ее, а в старости нет уж сил поспевать за ее молодыми порывами.

Я должен ответить всего-то на один вопрос: как я отношусь к собственной душе?

Гамлет – это разговор о важных, но все-таки деталях. Офелия – молчание о целом.

Гамлет – это путь к прозрению: не могу молчать. Офелия – это пик прозрения: нет слов.

Брожу в глухом лесу... И вижу горизонты. Деревья не сужают, а расширяют пространство.

Я держусь за запах ушедшей литературы.

Прошрое мы выстраиваем для того, чтобы удержаться в настоящем.

Девушка-балкарка купила букет фиалок. Неужели это мы? Мы еще вчера надкусывали кусочек хлеба, а другой кусочек клали под подушку – мало ли что может произойти с нами завтра. Я зримо увидел первое поколение балкарок, покупающих цветы. Мы обживаем землю. И какой широкий шаг мы сделали. Это самое важное со времен возвращения.

Живущие уже герои.

У меня нет ничего, кроме ощущения, что у меня есть все. Но если мое ощущение перерастет в убеждение – я потеряю все.

Без Бога – нет жизни, а без беса – жизнь скучна. Живем, пытаюсь обрести одного и не потерять другого.

Более всего мы стремимся к гармонии, а гармония – это равновесие светлого и темного.

Самая большая глупость и самая большая потеря времени – искать смысл жизни в самой жизни. Она всегда вне ее.

Адресное добро помогает одному. Безадресное – согревает мироздание и обогревает всех. А главное – оно утепляет твое место в вечности.

Совесьть – это пограничье, отделяющее душевное от бездушного.

Если затрудняешься в выборе своем, обратись к совести своей.

Совесьть – это беспристрастная благодать, определяющая жизнь истинную и отвергающая проживание мнимое.

Совесьть – это единственная опора сути твоей.

Живи не встречей, а ожиданием человека.

Тепло твое должно свободно выходить из тебя, поселиться в других и, обогащенное, возвратиться назад. Не закрывай тепло то в себе, оно не живет в неволе, впрочем, как и все остальное.

Они сами донельзя примитивны, выдумавшие определение – «простой человек». Просты лишь святые. В тяжелых трудах добывающие хлеб свой сложны и в простоте своей.

В этой жизни надо ответить всего-навсего на один вопрос: как ты относишься к своей именной благодати?

Чехов написал несколько пьес. Поставлено несчетное количество театральных постановок и снято огромное количество фильмов – не по мотивам, а по чеховским озарениям.

Любишь других и не ценишь себя, значит – ты верующий.

Счастье – что-то непохожее на нашу жизнь.

От ладони Божьей родился Адам, и этот миг люди запомнили навсегда. Это единственное, что мы помним о Боге.

Писатель может быть кем угодно, но он не может быть маленьким.

Иногда важнее отстаивать литературу, нежели развивать ее.

Родиться нормальным человеком уже трагедия.

Обеспеченных людей было не так уж и много: Дон-Кихот, Офелия, князь Мышкин, Обломов. Им нечего было уже приобретать – у них все было.

Присутствие на земле других – большая радость, и большего от них ждать не стоит.

Ты пришел в этот мир, чтобы отдать, ибо взять тебе нечего. Боже дал тебе жизнь и землю, чтобы жить, и тело, чтобы лучше видеть дары свои, и душу, чтобы возрадоваться подаренному. Ты не можешь что-то взять, потому что тебе все дано. Пришедшие что-то взять вместе с мыслью этой начинают хоронить себя. И чем больше, как тебе кажется, ты приобретаешь – тем поспешней и успешней похороны. Не обрести ты пришел в этот мир, а пришел ты порадоваться изначально обретенному и поделиться радостью своей за обретенное.

К маленькой стране тянутся руки «дружбы» стран больших, и если небольшая страна хочет иметь большую степень независимости – жать надо самую дальнюю из всех протянутых рук.

У аутсайдера больше времени на размышление: о душе, о теле, о жизни самой.

Испания – будто только что родился и ошарашен: цветом, небом и землей.

Сказки – это предполагаемая иная реальность.

– С наступающим праздником!

– А что за праздник?

– Ну должен же он когда-то наступить!

Читатель – это зримая свобода. Читатель – последний оплот свободы.

Талант – не обретение, а сохранение.

Жизнь так стремительно улучшается, что не успеваешь это и заметить.

Личность – свой мир, охраняемый своими же законами.

Декларативный патриотизм рождается от недостатка здравого смысла. Там, где процветает разум, патриотизм спокойно течет в крови, не доставляя неудобств ни себе, ни рядом проживающим.

Не Боже грузит – грузишься ты сам, Боже лишь присматривает, чтобы не придавило тебя грузом твоим.

Не все же как у людей, что-то должно быть по-человечески.

Личностная теплинка – как отпечатки пальцев: Маргарита Володина, Анни Жирардо, Светлана Сорокина.

Жизнь: незаметно от Бога собирал соломку и стелил под себя.

Беса надо гнать от колыбели и лучшее кадило – Пушкин.

Сознание собственной исключительности – тяжелое бремя.

Осознание собственной исключительности – стержень всего художественного и научного.

Когда дремлет внутреннее, беснуется внешнее.

Покой – это когда ты еще не успел забыть себя.

Рожденный ползать – везде пролезет.

Три типа простоты: от большого ума, от ниспослання Божьего, от недоумия.

Балет – зримое неприятие смерти.

Балет – доказательство бессмертия. Зная о смерти, кто бы танцевал?

Балет – танец бессмертия.

«Слава Богу, наступило», – говорит человек живущий. «Господи, хорошо, что прошло», – говорит проживающий.

Чем яростней ты будешь искать ценности в других, тем ярче будут проявляться твои собственные достоинства.

Патриотизм – это не особое отношение к себе и своим соплеменникам, патриотизм – это трепетное отношение к жизни самой.

Мало того, что ты сам должен быть хорошим, надо, чтобы и жена была хорошей, но и этого мало, надо, чтобы и дети были хорошие – и этого мало, надо, чтобы невестка и зять были хорошими – и этого мало, надо, чтобы внуки удались. Слишком длинна нить связующая, чтобы где-нибудь да не оборваться.

И это только испытания от ближних своих. А что предстоит испытать от дальних? Бесконечен Божий спрос с человека.

Москва – быстрый ритм. Провинция – в час по шагу. И только Питер идет своей неповторимой иноходью. Идет без жителей своих. Идет и грустит – то ли по финнам, то ли по шведам. Идет прочь от России.

Толерантность – вера в умных, приносящих многоцветие и многосмыслие.

Как мало людей, глядя на которых ощущаешь душу свою.

Кормя голодных – мы насыщаем близких на том свете. И нет им пищи иной.

Делай необходимое, помня о бесценном.

Доброе легче сделать и поэтому не вызывает интереса.

Занимаемая должность – это всего лишь род занятий, а мы воспринимаем ее как человеческую ценность.

Поклонение начальству – это бессмертие язычества, проживающего в нас.

Кто-то красочно расскажет тебе о пирогах, а кто-то молча принесет торт.

Для торжества жизни нужно соблюдать всего лишь один закон, закон равновесия: не потерять себя и дать другому быть другим.

Один создает события, а потом борется с ними. Другой, не зная на события, ждет озарения ниспосланного Богом. Две главные дороги, два основных пути – и выбирать нам.

Я должен – значит, жив! Мертв тот, кто никому ничего не должен.

У человека одна-единственная ответственность – перед собственной душой. И нет больше долгов у человека.

Я суетливый человек, с ложкой чечевицы бегущий за солью земной. И жажду свою утомяющий пеной морской. Но пред душой – я пес цепной сидящий, почти что бездыханный. И потому люблю собак – они, как я, разинув рот, день свой стерегут – не прозевать бы собственную суть.

Толерантность – необходимое условие и основа справедливости.

Раб еще может стать свободным, рабовладелец – никогда.

Самая страшная форма суицида – обладание властью, она ежедневна, продолжительна и сладостна.

Сытость – самая короткая дорога к старости. Лишения – самый дальний путь к ней.

Чем меньше имеешь, тем моложе выглядишь.

Толерантность – увидеть, услышать, понять и полюбить другое и других. И тем самым достичь желаемого – прожить жизнь яркую, многоцветную.

Национализм – ущербное стремление к жизни тусклой и одноцветной.

Толерантный – человек, собирающийся жить. Националист – исподволь готовящий себя к смерти.

Бесправие одних порождает беззаконие для всех.

Вместо языка животные получили гармонию со всей вселенной.

Самая большая удача – Божья требовательность.

Знание – это не сумма полученных сведений извне, а расшифровка знаков Божьих внутри тебя.

Самый большой грех звонить чиновнику в воскресенье, раньше 12 часов.

Фундамент счастья твоего – сочувствие к несчастиям соседа.

Есть только один способ построить собственное счастье – это сочувствие к беде другого.

Радость – краткая вспышка хорошего. Счастье – это внимание Бога и тяжкий труд на верно выбранном пути.

Вначале было Божье прикосновение, а потом уже родители, братья и сестры. Память о том прикосновении и есть первоценность.

Ощущения расширяют пространство, события его сужают.

Нет ничего вместительнее края пропасти – там пребывают люди, страны, континенты и мир весь.

День уходит на репетицию будущих несчастий своих.

Я измеряю здоровье свое по тем, кто слабее. Я сравниваю ум свой по тем, кто умнее. Первое – вдохновляет. Второе – спасает от гордыни.

Чье-то благородство печалит – Господи, как я далек от таких высот. Чье-то хамство воодушевляет – слава Богу, я еще не так низко пал.

Одни пакостят непрерывно, другие безуданно адаптируются к пакостям тем. И все спрашивают: когда ж конец света?

Конец света является к нам каждый день. И к нему мы умудрились приспособиться.

Правда, произошло это событие почти незамеченным.

Народ бессмертен – вот человека жалко.

Проблемы решаемы лишь при наличии в них смысла и причины.

«Живу я, живу... Смотрю я, смотрю...я смотрю... И лучше себя никого не вижу...» – сказала женщина с изумлением в глазах и с горем в голосе.

Ей очень много пришлось потрудиться, чтобы прийти к этому огорчению, гораздо легче было бы поругать себя.

Протягивая руку потенциальному завоевателю, подавай ее наиболее слабому – легче будет потом вырвать ее.

Лирика может обойтись без событий, а событие без лирики – нет.

Событие без лирики – бутафория.

В Испании каждая частичка сама по себе – человек, сидящий в кафе, облака в небе, аист на колокольне храма. В России – поезд, везущий счастливых на море, и бомж, сидящий на лавке кривой, заросшей полынью и чертополохом, – единое целое.

Дети большой колонной шли по двое. В них было столько задора, вдохновения и веры, что, казалось, они хотят дойти до самого бессмертия. Вожатый – в коротких штанишках, и он знал дорогу. И время им сопутствовало – была весна и месяц – май.

С ума сойти – от ивы, заплутавшей в смехе талых вод, в подсветке ошалевших бликов солнца. От чистых изваяний белых облаков. Морщинок тонких вдумчивых прудов. От взгляда мудрого усталой птицы. От тени дуба на краю села... Сойти б с ума... Ведь все равно сходить по пустякам, безумьем полнясь.

Испания состоит из густой подвижной пряности, пропеченной солнцем. И правит всем она: и воздухом, и небом, и людьми. Царит, лишая округу устойчивого смысла.

Мне важно, как другие относятся ко мне, но мне гораздо важнее, что я думаю сам о себе.

Когда многие преследуют одного – они бегут, чтобы забрать его грехи себе.

Дизайн – это не только улучшение внешнего, но и обустройство внутреннего.

Дизайн – это то, чем человек вынужден заниматься всю свою жизнь.

Нет ничего тяжелее плохой крови.

Из всех дорог выбирай ту, на которой не потеряешь себя.

У беса всего-то один союзник – люди. И главные враги – Бог, поэзия, человек.

Суть поэзии – открытие.

Простейшая геометрическая фигура может проверить художественную состоятельность и политическую устойчивость группы лиц и больших сообществ. Критерий прост – баланс устремлений и интересов автора и исполнителя, правящих и управляемых. Крыша дома стремится ввысь, стены – вширь, фундамент вглубь – иди, нарушь какое-нибудь из этих устремлений.

Только ребенок в момент восторга воистину верующий – он чувствует Бога и он ему нравится.

Без интеллигенции невозможна любая устойчивая общность, а без общности невозможна государственность.

Из абсурда всего три выхода: любовь, одиночество, юмор.

Для пишущего самый дальний путь – от стула до стола.

Сытые не поют – они мурлычат.

Лучше всех поет тот, кто ищет в песне опору и спасение.

Все внешнее покупается только за счет бесценного внутреннего. И чем богаче человек во внешнем, тем он беднее во внутреннем.

У человека нет выбора, ибо нет альтернативы человечности.

Не преодолев видимого, не осознать реального.

Реальность и есть преодоление видимого.

В основе натюрморта всегда грусть, потому что нет оживляющего начала – человека.

Не всматривайся так пристально в себя. Душа – не страх и не всегда пребывает в тебе. Ей и в мире-то целом тесно. Но она спокойно умещается в другом. Взгляни на встречного, возможно, в нем затаилась душа твоя.

Родить человека могут многие, а возродить его по силам лишь избранным.

Значимость твоя измеряется лишь количеством возрожденных тобой.

Лишь трудясь над чьей-то душой, ты почувствуешь присутствие Бога.

Пожалей уходящую женщину – какого парня потеряла. Пожалей ушедшего мужчину – какую женщину не удержал.

Пока писатель не заплачется, читатель не прослезится.

Начни день свой с перечисления достоинств своих и отпадет нужда вспоминать недостатки свои. В душевном настрое – от перемены мест слагаемых сумма меняется.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Красивое это слово – тропинка	7
Здравствуй, незнакомый!	9
Я сам выбирал себе папу.	14
В ожидании воскрешения	18
Кто ж красит полы в предверии осени	19
Я словом врачую раны свои	28
Дворец мой в безлюдной степи	32
Мы жили рядышком с Граалем	36
Благословение долгам моим	48
Вслед за августом.	62
Салют из одуванчиков	64
День, из которого невозможно уйти.	66
Меж крестом и полумесяцем	82
И мы так сможем	94
На маршрутке по обломкам	96
Сводить собак на водопой	98
На опушку – за медом, к роднику – за икрой. <i>Кому – сказка, кому – быль</i>	100
Осень. Две коровы. Листопад	102

Из записных книжек

Из записных книжек	119
------------------------------	-----

Литературно-художественное издание

Чипчиков Борис Магомедович

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДОЛГАМ МОИМ

Рассказы

Редактор *Дж. П. Кошубаев*

Художник-редактор *Ю. М. Алиев*

Технический редактор *В. М. Ибрагимов*

Корректор *Л. Л. Молова*

Компьютерная верстка *Л. А. Фадеевой*

Подписано в печать 28.02.13. Формат 84x108^{1/32}. Бумага офсетная №1.
Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,5.
Уч.-изд. л. 10,29. Тираж 500 экз. Заказ № 174

ГКУ «Издательство «Эльбрус»
360051, Нальчик, ул. Адмирала Головки, 6

ООО «Печатный двор»
360000, Нальчик, ул. Калюжного, 1

Чипчиков Б. М.

Ч 639 **Благословение долгам моим: Рассказы. Из записных книжек. – Нальчик: Эльбрус, 2013. – 200 с.**

ISBN 978-5-7680-2518-2

В книгу вошли рассказы, размышления и заметки из записных книжек известного балкарского прозаика Бориса Чипчикова.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2-411.2)6-4